

ISSN 2225-5346
e-ISSN 2686-8989



СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:
BAL TIC ACCENT

2021

Том 12
Vol.

№ 2

Издательство Immanuel Kant Baltic Federal
Балтийского федерального University Press
университета им. Иммануила Канта
2021

СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ
АКЦЕНТ
2021
Том 12
№ 2

Калининград :
Изд-во БФУ
им. И. Канта, 2021.
127 с.

Учредитель
Балтийский
федеральный
университет
им. Иммануила Канта

Редакция
Адрес: 236022, Россия,
Калининград,
ул. Чернышевского, 56

Издатель
Адрес: 236022, Россия,
Калининград,
ул. Гайдара, 6

Типография
Адрес: 236022, Россия,
Калининград,
ул. Гайдара, 6

Издание
зарегистрировано
в Федеральной службе
по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
СМИ ПИ
№ ФС77-46308
от 26 августа 2011 г.

Редакционная коллегия

Владимир Александрович Плунгян, доктор филологических наук, академик РАН, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Россия) — и.о. главного редактора; *Сурен Тигранович Золян*, доктор филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — главный научный редактор; *Алексей Николаевич Черняков*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — ответственный редактор; *Наталья Сергеевна Автономова*, доктор философских наук, Институт философии РАН (Россия); *Наталья Михайловна Азарова*, доктор филологических наук, Институт языкознания РАН (Россия); *Томас Венцлова*, профессор, Йельский университет (США); *Димитр Веселинов*, доктор филологических наук, профессор, Софийский университет им. Святого Климента Охридского (Болгария); *Ив Гамбье*, доктор лингвистики, профессор, Университет Турку (Финляндия); *Игорь Николаевич Данилевский*, доктор исторических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Вера Ивановна Заботкина*, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (Россия); *Михаил Васильевич Ильин*, доктор политических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Максим Анисимович Кронгауз*, доктор филологических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Александр Васильевич Лавров*, академик РАН, доктор филологических наук, Институт русской литературы РАН (Россия); *Михаил Юрьевич Лотман*, профессор, Таллинский университет, Тартуский университет (Эстония); *Иван Борисович Микиртумов*, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия); *Михаил Андреевич Осадчий*, доктор филологических наук, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Россия); *Джеймс Расселл*, профессор, Гарвардский университет (США), Иерусалимский университет (Израиль); *Игорь Витальевич Силантьев*, доктор филологических наук, Институт филологии СО РАН (Россия); *Игорь Павлович Смирнов*, профессор, Констанцский университет (Германия); *Питер Стайнер*, профессор, Университет Пенсильвании (США); *Григорий Львович Тульчинский*, доктор философских наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Татьяна Валентиновна Цвигун*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия); *Вадим Александрович Чалый*, доктор философских наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия); *Татьяна Владимировна Черниговская*, доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук, распоряжением Минобрнауки России от 12 февраля 2019 г. № 21-р, а также в список журналов, индексируемых в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, и ядро РИНЦ.

Подписной индекс 36836
Тираж 120 экз.
Дата выхода в свет 21.05.2021 г.

SLOVO.RU:
BALTIC ACCENT
2021
Vol. 12
№ 2

Kaliningrad :
I. Kant Baltic Federal
University Press, 2021.
127 p.

Founders

Immanuel Kant Baltic
Federal University

Address

14 A. Nevskogo St.,
Kaliningrad, Russia,
236016

Editorial office

56 Chernyshevskogo St.,
Kaliningrad, Russia,
236022

Publishing house

6 Gaidara St.,
Kaliningrad, Russia,
236022

The opinions expressed
in the articles are private
opinions of the authors
and do not necessarily
reflect the views
of the founders
of the journal

Mass Media
Registration Certificate
PI № FS77-46308,
on 26 August, 2011

Editorial board

Prof. *Vladimir A. Plungyan*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, V. V. Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences (Russia) – Acting Editor-in-Chief;
Prof. *Suren T. Zolyan*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Scientific Editor; Dr *Alexey N. Chernyakov*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Executive Editor-in-chief; Prof. *Natalia S. Avtonomova*, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Nataliya M. Azarova*, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Tomas Venclova*, Yale University (USA); Prof. *Dimitar Vesselinov*, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’ (Bulgaria); Prof. *Yves Gambier*, University of Turku (Finland); Prof. *Igor N. Danilevskii*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Vera I. Zobotkina*, Russian State University for the Humanities (Russia); Prof. *Mikhail V. Ilyin*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Maxim A. Krongauz*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Alexander V. Lavrov*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Mihhail Yu. Lotman*, Tallinn University, University of Tartu (Estonia); Prof. *Ivan B. Mikirtumov*, Saint-Petersburg State University (Russia); Prof. *Mikhail A. Osadchy*, Pushkin State Russian Language Institute (Russia); Prof. *James R. Russell*, Harvard University (USA), the Hebrew University of Jerusalem (Israel); Prof. *Igor V. Silantyev*, Institute of Philology, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Igor P. Smirnov*, University of Konstanz (Germany); Prof. *Peter Steiner*, University of Pennsylvania (United States); Prof. *Grigorii L. Tulchinskii*, St. Petersburg School of Social Sciences and the Humanities, National Research University Higher School of Economics (Russia); Dr *Tatyana V. Tsvigun*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia); Prof. *Vadim A. Chaly*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia); Prof. *Tatiana V. Chernigovskaya*, Saint-Petersburg State University (Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	6
-------------------	---

СОБЫТИЯ И НАРРАЦИЯ

<i>Охоцимский А.Д., Кравченко А.В., Дружинин А.С.</i> Мыследействия и генезис времени в языковом семиозисе	7
--	---

<i>Герасимов С.В.</i> События и наррация в социально-культурных практиках	29
---	----

<i>Лисенкова А.А.</i> Цифровой сторителлинг и микронарративы — новые формы репрезентации персонального опыта и коллективного творчества	45
---	----

<i>Золян С.Т.</i> Самозванство как проблема референции: семиотика имени в «Борисе Годунове»	53
---	----

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

<i>Бойко Л.Б., Гулина А.К.</i> Перевод философской эстетики: перитекст как отражение когнитивного процесса перевода. Часть 2	78
--	----

<i>Рунова Н.В., Фурменкова Т.В., Линевиц Н.Ю.</i> Перевод новой социологической терминологии: проблемы и решения	95
--	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ: НОВОЕ В БОЛГАРОВЕДЕНИИ

Рец. на кн.: <i>Веселинов Д., Ангелова А.</i> Речник на френските думи в българския език в шест тома (<i>П. Легурска</i>)	110
---	-----

Рец. на кн.: <i>Sprachwissenschaftliche Perspektiven der Bulgaristik. Standpunkte — Innovationen — Herausforderungen / М. Henzelmann (Hg.). (М. Йорданова)</i>	118
--	-----

CONTENTS

From the editor.....	6
EVENTS AND NARRATION	
<i>Simsky A., Kravchenko A. V., Druzhinin A. S.</i> Action-thoughts and the genesis of time in linguistic semiosis.....	7
<i>Gerasimov S. V.</i> Events and narration in socio-cultural practices.....	29
<i>Lisenkova A. A.</i> Digital storytelling and micro-narratives – new forms of representation of personal experience and collective creativity	45
<i>Zolyan S. T.</i> Imposture as a problem of reference: semiotics of the name in <i>Boris Godunov</i>	53
TRANSLATING PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES	
<i>Boyko L. V., Gulina A. K.</i> Translating philosophical aesthetics: Peritext as a window into the translator's mind. Part 2.....	78
<i>Runova N. V., Furmenkova T. V., Linevich N. Yu.</i> Translation of new sociological terminology: challenges and solutions	95
REVIEWS: BULGARIAN STUDIES	
Book review: Veselinov D., Angelova A. Речник на френските думи в българския език в шест тома (P. Legurska).....	110
Book review: Sprachwissenschaftliche Perspektiven der Bulgaristik. Standpunkte – Innovationen – Herausforderungen / M. Henzelmann (Hg.) (M. Yordanova).....	118

ОТ РЕДАКЦИИ

В настоящем выпуске мы продолжаем публикацию исследований, направленных на достижение междисциплинарного синтеза между различными гуманитарными дисциплинами. Это позволяет получить новые результаты применительно к, казалось бы, хорошо изученным областям.

В первом разделе «События и наррация» рассмотрены различные аспекты взаимосвязи между категориализацией намерений, действий и событий, с одной стороны, и их транспонированием в символические формы и нарративы — с другой. Раскрытие связи между семиозисом и социокультурными практиками получает продолжение в анализе явления лингвофилософских аспектов самозванства, как они предстают в «Борисе Годунова» А. С. Пушкина.

Прикладная манифестация смысловых связей между лингвистикой и социальными науками — это проблемы перевода. Во втором разделе мы продолжаем начатую в предыдущем выпуске публикацию материалов международного семинара по вопросам перевода в области социальных и гуманитарных наук. Семинар действует под научным руководством профессора Ива Гамбье в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

Завершает выпуск обзор новых научных публикаций коллег-болгароведов по тематике языковых контактов. В особенности мы рады успеху активного члена нашей редколлегии профессора Димитра Веселинова — редактора и составителя уникального по структуре и объему шеститомного словаря французских заимствований в болгарском языке. Нет сомнений, что инновационный опыт этой работы будет учтен в лексикографии.

Пока готовился этот номер, мы получили добрую весть: наш журнал успешно прошел экспертизу и ныне включен в базу данных Scopus.

УДК 81:1; 115

МЫСЛЕДЕЙСТВИЯ И ГЕНЕЗИС ВРЕМЕНИ В ЯЗЫКОВОМ СЕМИОЗИСЕ

А. Д. Охоцимский¹, А. В. Кравченко², А. С. Дружинин³

¹ Независимый исследователь,

Грунстраат 169, Лёвен 3001, Бельгия

² Байкальский государственный университет
664003, Россия, Иркутск, ул. Ленина, 11

³ Московский государственный институт (университет)
международных отношений МИД России

119454, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 76

Поступила в редакцию 03.01.2021 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-1

Генезис времени трактуется авторами в духе конструктивизма в сочетании с деятельностным подходом к познанию. Базовые временные категории настоящего, прошлого и будущего рассматриваются как система мыслейдействий – элементарных единиц деятельности, – структура которой обусловлена языковым семиозисом. Модель феноменологии времени Гуссерля применяется к анализу переживания субъектом собственных действий. Показано, что если переживаемое настоящее основано на совершаемых действиях, то прошлое и будущее конструируются рефлексивными мыслейдействиями в когнитивной сфере языка. Подчеркивается, что организация временного ряда, связывающего то, что есть, с тем, чего уже нет или еще нет, возможна лишь в языковом семиозисе. Аналогия с гуссерлевской трехчастной структурой потока сознания-времени помогает понять триаду «настоящее – прошлое – будущее» как пример эпистемологической ловушки языка: прошлое и будущее – это мысленные конструкции, так же принадлежащие настоящему, как и любые другие акты мысли.

Ключевые слова: эпистемология, конструктивизм, феноменология, язык, действие, темпоральность

1. Введение

Несмотря на интуитивную очевидность понятия «время» и обилие посвященной ему литературы, метафизика времени остается загадочной. На это обращал внимание еще Св. Августин: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» (1992, с. 167). Затруднение здесь связано с тем, что понятие «время» настолько тесно вплетено в когнитивный процесс, что приступить к его анализу можно, лишь четко определившись с эпистемологической моделью и методологией, детерми-



нирующей логику предпринимаемого анализа, включая и само понятие «знание» (Kuhn, 1977). В данной работе мы опираемся на биологический подход к когниции и языку (Maturana, 1970; 1978; 1988; Maturana, Varela 1984; Stewart, Gapenne, Di Paolo, 2011; Ward, Silverman, Villalobos, 2017), характерный для третьего поколения когнитивной науки (Кравченко, 2009) и философии (радикального) конструктивизма (Steffe, 2007).

Если в когнитивной науке первого поколения процесс познания (cognition) рассматривался в рамках компьютерной модели как набор вычислительных операций, совершаемых с символическими репрезентациями при помощи врожденных алгоритмов (Chomsky, 1975), то в когнитивизме второго поколения ментальные структуры возникают из телесного опыта, то есть сознание корпорально (воплощено) (Damasio, 1999; Lakoff, Johnson, 1999). Когнитивная наука третьего поколения выходит за рамки тела и рассматривает познание как синоним жизненно-го процесса в целом: «Живые системы — это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания» (Матурана, 1995, с. 103). Это значит, что «всякое действие есть познание, всякое познание есть действие» (Матурана, Варела, 2001, с. 23); действия познающего организма конструируют его действительность как когнитивную нишу, в результате чего образуется единая система «организм-среда» (Järvilehto, 1998). Зародившийся в лоне теоретической биологии конструктивизм сочетает натурализм с анализом субъективного опыта в рамках феноменологических подходов.

Роль и место феноменологического метода в конструктивизме были предметом многих дискуссий. Если на первых порах подход Гуссерля подвергался критике за его абстрактный характер, игнорирующий как телесный, так и деятельностный компонент познания (Varela, Thompson, Rosch, 1991), то позднее включение феноменологии в инструментарий науки о сознании было признано необходимым (Gallagher, Varela, 2003; Thompson, 2007). Феноменологический метод становится инструментом анализа субъективности, понимаемой по-новому, как живой опыт активного субъекта в реляционной (семиотической) области взаимодействий — динамичной системе его отношений со средой (и, шире, миром), — а сама наука о сознании видится в междисциплинарной перспективе, в которой философия теряет свою отделенность от конкретных наук и становится теоретическим разделом когнитивной науки (Urban, 2016). Конструктивизм в таком понимании не противоречит деятельностному подходу, основательно разработанному в отечественной психологии (Рубинштейн, 1940; Леонтьев, 1975), и может рассматриваться как его развитие в рамках «конструктивного реализма» (Лекторский, 2018). Именно на таком понимании конструктивизма основан наш подход к понятию времени.

Человеческая система «организм-среда» уникальна наличием особой когнитивной области языковых взаимодействий, в которой человек эволюционирует как наблюдатель, способный к конструированию мира в языке. Чтобы понять этот мир, необходимо понять функциональную роль языкового семиозиса в концептуализации и категоризации



переживаемого опыта наблюдаемого мира (Kravchenko, 2020; Druzhinin, 2020) — в том числе и опыта того, что мы называем временем, поэтому феноменологическое исследование «до-рефлексивного опыта сознания-времени» (Zahavi, 2003) должно сочетаться с анализом семантики базовых временных категорий. Субъект познания как «сущность, осознающая себя в языке» (Maturana, 1990, p. 115), осмысляет темпоральный опыт через призму языковых представлений: так называемая «объективная реальность» предстает перед наивным наблюдателем в том виде, в каком она конструируется в языке. Попадая в «эпистемологическую ловушку языка» (Кравченко, 2016), человек представляет себе настоящее, прошлое и будущее как три семантически равнозначные временные области, хотя на самом деле прошлое и будущее суть акты мышления, принадлежащие «бевременному», бесконечному настоящему «теперь» (Heidegger, 1927) в его полном — и единственно верном в последовательно научном смысле — понимании. От феноменологии темпорального опыта тянется нить к его осмыслению в языковом семиозисе.

Следуя намеченной ранее исследовательской линии (Gallagher, Varela, 2003), мы начинаем анализ восприятия времени с применения трехчастной модели Гуссерля (первичное восприятие, ретенция, протенция) к переживанию субъектом собственной деятельности, темп которой воспринимается как ход времени. При этом основным структурным элементом как деятельности, так и времени оказывается мыследействие, понимаемое как синергия наблюдаемого действия (при его наличии) и связанных с ним актов мысли, либо как ненаблюдаемое действие особого вида, имеющее характерную для языкового семиозиса реляционную динамику и осуществляемое на нейрофизиологическом уровне¹. Мыследействия служат строительным материалом всех трех временных областей (настоящего, прошлого и будущего), смысловая структура которых формируется в когнитивной сфере языкового семиозиса. При этом проживаемое настоящее субъекта строится как временной ряд совершаемых им действий, а его прошлое и будущее конструируются рефлексивными актами мысли из материала ре-презентированного² опыта и мысленных действий. Трехчастная структура базового понятия времени, представленная во многих (хотя и не во всех) языках, определяет наше «конструирование» времени, когда прошлое и будущее мыслятся как временные области, отдельные от настоящего.

Нужно отметить, что концептуализация времени современным человеком идет намного дальше базового трехчастного деления и имеет

¹ Г.П. Щедровицкий (1995, с. 114–134) интерпретировал «мыследействие» как процесс воплощения в жизнь результатов мыследеятельности, трактуемой как коллективное мышление особого типа. В данной статье мыследействием называется единичный акт индивидуальной деятельности, понимаемой холистически, в единстве внутренних и внешних процессов (Охоцимский, 2018а; 2018б).

² Ре-презентация — это мысленный акт «вновь-представления» элементов перцептуального опыта вне сферы прямого чувственного восприятия (Glaserfeld, 1995, p. 94).



выраженный количественный характер. Время как измеримый ресурс — это среда обитания современного человека и структурная основа организации его социальной деятельности. Это «объективное», как бы заданное извне, время подчиняет всех своему расписанию, которое мы не в состоянии изменить. Но наряду с этим социально-техническим временем продолжает существовать более архаичный и, в известном смысле, более естественный тип концептуализации темпоральности, данной в непосредственном восприятии ритма жизненного процесса и последовательности действий и событий. Приехав из города на дачу, мы радуемся возможности «забыть про время». Погрузившись в работу или увлекшись другими занятиями, мы воспринимаем сам темп деятельности как ход времени. Именно о таком экспериенциальном времени идет речь в данной работе, так как именно в нем следует искать древние корни категорий настоящего, прошедшего и будущего. Мы начнем с более детального сопоставления «объективного» и экспериенциального³ подходов к концептуализации времени, а затем, после краткого разъяснения понятия «мыследействие», перейдем к анализу трех основных временных категорий.

2. Время абсолютное и экспериенциальное

Концепт времени в современном массовом сознании строится на основе ньютоновских понятий абсолютного пространства и абсолютно-го времени, которые понимаются как изначально пустые контейнеры вещей, событий и явлений. Если пространство вмещает в себя все одно-временные состояния, то время мыслится как некая ось, на которую нанизываются следующие друг за другом события.

Однако модель абсолютного времени представляется наивной и неполной с позиций современной физики. Теория относительности и квантовая механика показали зависимость результатов измерения времени не только от действий субъекта, но и от самого процесса измерения — тем не менее эти научные данные мало влияют на понимание времени в обычной жизни. Общедоступность сигналов точного времени лишь усиливает иллюзию существования времени как объективной внешней реальности, как некоей абсолютной системы отсчета секунд, минут и часов, вынесенной за пределы повседневного бытия и задающей ритм всех процессов и действий. Между тем в действительности сами системы «хранения» времени далеко не абсолютны, они состоят из набора атомных часов, далеко отстоящих друг от друга и непрерывно сопоставляемых при помощи сложных процедур. В целях его «абсолютизации» атомное время периодически сверяют с результатами астрономических измерений — так устанавливается некоторая рассогласо-

³ Такое понимание времени было бы не совсем верно назвать «субъективным», так как его примеры нетрудно обнаружить среди неевропейских культур. Так, в культуре индейцев пирахан организующая функция времени выражена слабо в связи с их монотонно-неизменным образом жизни, и это находит отражение во временной лексике языка (Everett, 2008; Кошелев, 2018).



ванность двух шкал времени, которая раз в несколько лет компенсируется пропусками так называемых високосных секунд, даты которых определяет международная комиссия. Практика метрологии времени подтверждает справедливость реляционного подхода, согласно которому концепт «время» возникает в сопоставлении темпов протекания разных процессов (Wittgenstein, 1922, p. 86). Никакого общего для всех абсолютного времени нет. Время — это мысленный конструкт, который познается в «процессе координирования движений, включая их темп» (Piaget 1970, p. 60) и связан с ощущением быстроты выполняемых действий.

Модель абсолютного времени страдает еще от одного недостатка. Ньютоновская временная ось состоит из однородных по содержанию моментов, не отличающихся между собой ни концептуально, ни эмпирически. В этой модели настоящее — это лишь один момент среди прочих. Однако настоящее — это не произвольная точка на хронологической линии, а весь предметно-пространственный континуум в совокупности его состояний и динамики, включающий и нас самих (ср. с лат. *praesens* 'то, что перед чувствами'). Понятие настоящего как момента времени противоречиво, так как этот момент, с одной стороны, статичен в своем качестве всегда-настоящего, а с другой — непрерывно движется по временной оси (Кравченко, 1990; Deutsch, 1997). Прошлое — это память о событиях, приведших к настоящему как воспринимаемой реальности, прогнозируемую способность которой изменяться в дальнейшем мы называем будущим. Прошлое и будущее как категории языка отражают феноменологию времени, а не его физическую модель: время вне человека не существует (Кравченко, 1996, гл. 3).

Логико-семантический анализ темпоральной лексики в русском языке (Арутюнова, 1999) показывает, что характер переживания времени зависит как от точки зрения, так и от направления интенции субъекта, которого можно представить себе как путника, идущего по дороге жизни (этимологически *время* восходит к др.-инд. *vártma* 'колея, рывтина, дорога' (Фасмер, 1986, с. 361)). Во многих случаях словообразовательная семантика отражает парадигму «традиционного пути», которая предписывает обращать взор в прошлое (Guéron, 1945): мы *след*-уем проторенным путем *в-след* за своими *пред*-ками или *пред*-шественниками, которые идут *в-перед*-и нас, а уже потом, после нас *след*-уют *потом*-ки. В традиционной модели время циклично, и все проходят один и тот же путь от рождения к смерти, возвращаясь «на круги своя». Другая часть лексики, напротив, выражает обращенность в будущее и отвечает мировидению человека, активно создающего лучшее будущее для себя и потомства. «Перед» разворачивается в сторону будущего, а направление «назад» указывает на прошлое. Мы *предвидим* события *предстоящей* недели и стараемся *впередь* быть осторожнее, а если мы оглядываемся *назад*, то видим, что все осталось *позади*.

Временные категории выражаются противоречивыми метафорами потому, что прямое восприятие так называемого «объективного» времени недоступно человеку. Время не является ни предметом, ни процессом, ни качеством — это понятие, отображающее наше осмысление динамического аспекта переживаемого опыта. Можно утверждать с до-



стоверностью, что на нашем внутреннем, семантическом «циферблате» присутствуют области прошедшего и будущего, отделяемые друг от друга настоящим как потоком чувственно переживаемого опыта, в котором мы все время находимся, однако никакая его часть не отвечает прямо ни прошлому, ни будущему как онтологическим областям так называемой «объективной» реальности. И то, и другое — это акты мысли, операции над абстракциями, составляющими процесс языкового семиозиса как ориентирующего механизма во взаимодействиях человека со средой (Кравченко, 2019а); их назначение — помочь нам ориентироваться в настоящем.

Фундаментальные понятия пространства и времени имеют смысл лишь постольку, поскольку они относятся к осуществляемым или возможным человеческим действиям (то есть имеют операциональную природу) (Bridgman, 1958). Психологические данные по восприятию временных длительностей подтверждают, что темп субъективно воспринимаемого времени определяется интенсивностью собственных действий. Действует «закон заполненного временного отрезка» (Рубинштейн, 2002, с. 302): чем более заполненным действиями и, значит, расчлененным на маленькие интервалы является отрезок времени, тем более длительным он кажется. В опасных ситуациях восприятие обостряется, и ход времени почти останавливается (Леонов, Лебедев, 1971). Думая, что мы воспринимаем время, мы фактически воспринимаем себя и свою когнитивную динамику. Темп действий задает «ход времени». Но если человек «строит» свое настоящее (*praesens*) из действий, непосредственно данных в восприятии, то прошлое и будущее он (*re-*)конструирует из действий мыслимых как части накопленного опыта, опосредованного языковым семиозисом и сохраняющегося в памяти. Концепт мыследействия, выражающий системное единство совершаемых и мыслимых действий, поможет нам осмыслить три фундаментальные временные области как три семиотических компонента единого экспериенциального континуума.

3. Действия, мысли и мыследействия

Идея синергии мысли и действия не нова — еще классики отечественной психологии утверждали единство деятельности и мышления (Рубинштейн, 2002). Однако если считать действие внешней реализацией мысли, а мысль — внутренним действием, нельзя преодолеть идущий от Декарта дуализм, присущий рационалистической философии (Damasio, 1994). Подход к познанию как жизненному процессу в системе «человеческий организм — среда» позволяет рассматривать мысль и действие как единое целое, характеризующее актуальную динамику живой системы в ее адаптивных взаимодействиях со средой (Кравченко, 2017). Чтобы понять биологические и нейрофизиологические процессы, лежащие в основании того, что мы называем мышлением, его необходимо рассматривать как динамические состояния высокоорганизованной живой системы (системы, обладающей центральной нервной системой), рекурсивные взаимодействия с которыми становят-



ся компонентами поведения в консенсуальной области. Эти компоненты имеют реляционный характер, поскольку относятся к реляционному способу существования – языку как координациям координаций поведения (Maturana, 1978), поэтому про мышление нельзя сказать, что оно локализовано в мозге либо является результатом уникальной работы человеческого мозга; оно возникает по мере того, как мозг принимает участие в порождении поведенческой реляционной динамики – языка как когнитивной области взаимодействий. Другими словами, «человеческий мозг мыслит языком (in language)» (Maturana, Mpodosis, Letelier, 1995, p. 24), а мышление – это особый вид деятельности в реляционной области языка как способа жизни «человека говорящего».

В терминах нейрофизиологии речь идет о механизмах управления действиями, которые также откликаются на совершение тех же действий другими людьми, – именно такой механизм лежит в основе восприятия действий (Rizzolatti, Sinigaglia, 2010). Действия следует отличать как от естественных физиологических процессов (например, пищеварения), так и от движений. Действия целенаправленны, осознаны, социально обусловлены и, как правило, опосредованы использованием орудий и инструментов культуры (Выготский, 1934). В биомеханике действия понимаются как организованный набор движений, направленных на достижение определенной цели (Бернштейн, 1990). В разграничении действий от моторики существенную роль играет внимание. Действие совершается намеренно и находится в зоне внимания, а составляющие его движения совершаются автоматически, хотя при необходимости могут перейти в зону внимания и тем самым приобрести статус действий. И, напротив, хорошо отработанное действие может совершаться автоматически⁴, способствуя переключению внимания на действия более высокого уровня, вплоть до мысленных действий, существование которых дополнительно оправдывает использование термина *мыследействие*. Акты воспоминаний, формирующие наше прошлое, – это тоже разновидность мыследействий.

Действиям отвечает особый вид памяти, отличный от хорошо знакомой нам эпизодической (биографической) памяти, формирующей временную структуру прошлого. Память на действия, которую психологи называют неявной или процедурной, хранит программы действий, то есть то, что мы обычно называем навыками или умениями. Из них соткана ткань нашей деятельности – мы делаем лишь то, что мы умеем делать. Так как наш организм как живая система эволюционно приспособлен в первую очередь именно к действиям, этот вид памяти для нас наиболее органичен и не требует явных актов запоминания и вспоминания, так как и то и другое происходит при совершении действия или при его мысленном проигрывании. Навык отрабатывается путем повторения, при этом индивидуальные акты действия абстрагируются в умение что-то делать как особую форму знания. Навыки дей-

⁴ Действия, отработанные до автоматизма, в теории действий называют «операциями» (Леонтьев, 1975; Vedny, Karwowski, 2007) и рассматривают как структурные единицы действий.



ствий запоминаются прочно, надолго и без явных усилий. Однажды научившись играть в пинг-понг, мы будем играть примерно так же и через 5, и через 10 лет. Такие усвоенные умения — будь то двигательные или умственные — и составляют ядро того, что мы назвали мыследействиями. В отличие от биографической памяти, навык действия не имеет временного штампа. Он всегда отвечает актуальному умению что-то делать, и в этом смысле мыследействия сами по себе вне времени.

Бергсон (Bergson, 2004) первым выделил эти два вида памяти — память тела (действия) и память духа (события) — и противопоставил их друг другу. Оба вида памяти работают вместе в (вос-)создании временной области прошлого. Эпизодическая память предоставляет нам отдельные штрихи прошлого, которое мы облачаем в живые образы с использованием актуальных сенсомоторных навыков-мыследействий. Это же относится и к будущему, которое оживает мыследействиями из сегодняшнего арсенала, так как других просто нет. Мыследействия служат материалом как для реконструкции прошлого, так и для создания будущего, но при этом смысловая структура этих временных областей определяется рефлексивными актами мысли, маркирующими как воспоминания, так и акты воображения путем соотношения их с другими событиями или с хронологическими метками. Сами процессы формирования и переживания воспоминаний или планов на будущее требуют своего рода навыка и тем самым принадлежат категории мыследействий. Хотя мыследействия могут и относиться, и относиться к планам прошедшего или будущего, сами по себе они всегда совершаются в настоящем, основными строительными блоками которого служат актуально совершаемые действия. Рассмотрим феноменологию настоящего подробнее.

4. Интенсивное настоящее: время действий

В основе понятия «настоящее (время)» лежит непосредственное восприятие человеком всего того, что образует его когнитивную область (область взаимодействий со средой) как живой системы, и в этом качестве оно является адекватным предметом феноменологического анализа. Настоящее — это не временная точка, а когнитивный динамический континуум, интегрирующий уходящее прошлое и наступающее будущее в единый экспириенциальный поток. «Сейчас» — это не просто краткий отрезок времени, а «многость» настоящего (*moreness of the present* (Gendlin, 1997)). «Сейчас» имеет протяженность и открыто как в прошлое, так и в будущее. Рефлексивные мыследействия, ре-презентирующие прошлое и конструирующие будущее, дополнительно обогащают «многость» настоящего и будут рассматриваться более детально в следующих разделах, тогда как здесь мы сосредоточимся на «настоящем» настоящем.

Феноменология настоящего, детально разработанная Гуссерлем (Husserl, 1991), подтверждается нейрофизиологическими исследованиями (Gallagher, 2005). Кратковременная память хранит в течение нескольких секунд детальную сенсомоторную информацию и позволяет



оценивать динамику происходящего. Эта разновидность памяти — прямое и постепенно ослабевающее удержание первичного воздействия — и есть то, что Гуссерль назвал ретенцией. Строго говоря, все, что мы воспринимаем, — это ретенция, так как даже процесс обработки первичной зрительной информации занимает около 150 мсек (Schmidt, Lee, 1999), поэтому принятие текущих решений уже само по себе включает экстраполяцию недавнего прошлого в ближайшее будущее (в терминологии Гуссерля — протенцию). Ретенция и протенция неосознанны и кратковременны, и их следует отличать от осознанных мысленных действий воспоминания и предвосхищения, в которых воссоздается прошлое и предугадывается будущее. И то и другое — это интенциональные акты; воспоминания и ожидания могут переживаться по отдельности, тогда как ретенция и протенция имеют смысл лишь как аналитически выделяемые компоненты в составе единого экспериенциального потока, лежащего в основании осознания времени как концептуализированной в языковом семиозисе области переживаемого, прожитого и предвосхищаемого опыта взаимодействий с миром.

Трехчастная модель, включающая первичное восприятие, ретенцию и протенцию, верно схватывает сложную синтетическую структуру настоящего. Более того, она подводит к мысли, что настоящее есть нечто составное, а, следовательно, созидаемое, конструируемое. Но, оставаясь в рамках феноменологии Гуссерля, трудно уловить подлинную природу этого созидания — феноменология описывает чистое восприятие, абстрагированное от жизненного контекста. Она неявно предполагает пассивного субъекта и сводит взаимодействие с внешним миром к внимательному наблюдению. Это и неудивительно, ведь феноменология выросла из классического субъективизма: Юм и Беркли писали от лица мыслящего созерцателя, этакое «кабинетного философа».

Связь философии с элитарностью и досугом прослеживается начиная с диалогов Платона. Арендт (Arendt, 1998) убедительно разъяснила таблицу о рангах классической Греции, где труд (крестьянский или рабский) и работа (ремесленников) относились к низшим категориям деятельности, а высшими считались политические и философские занятия, которым элита предавалась по собственному желанию. При этом подразумевалось, что работа есть нечто вынужденное и что полностью свободный человек свободен и от необходимости работать. Неудивительно, что установка на созерцательность и осмысление пассивного восприятия вплоть до недавнего времени доминировала в философской мысли⁵.

Конструктивистская философия рассматривает активную человеческую деятельность как основу бытия и восприятия мира. К концу прошлого столетия в развитых странах сформировалось общество, в котором профессиональная умственная деятельность приобрела статус работы, а сама работа стала вопросом этического выбора. Даже такие

⁵ На известном рисунке Маха представлено поле зрения человека, возлежащего в верхней одежде на софе и созерцающего свои ноги, бровь, часть носа, ус и окружающую комнату (Mach, 1959).



«свободные» профессии, как политика, искусство и бизнес, не говоря уже о науке, стали относить к категории труда. Существенно и то, что мы живем в индустриально созданном мире, сконструированном из продуктов человеческой деятельности, поэтому неудивительно, что в современном осмыслении действительности все больший вес приобретают подходы конструктивистского плана, в которых на первое место выходит деятельность в своем формирующем, созидательном аспекте, а восприятию отводится подчиненная, почти инструментальная роль (Ноё, 2006). «Пассивная» феноменология представляется явно недостаточной и должна быть дополнена деятельностным подходом (Thompson, 2007). «Интенсивное настоящее» следует проанализировать не только как поток восприятия, но и как деятельностный процесс: сколько-нибудь полная феноменология времени должна включать и феноменологию действий, при этом базовая трехчастная структура (первичное восприятие, ретенция, протенция) сохраняется, но модулируется применительно к более сложной и многомерной модели настоящего, включающей собственные действия. Здесь мы рассмотрим две модуляции такого рода. Во-первых, это фоновое восприятие окружения как пространственного контекста деятельности. Во-вторых, это восприятие субъектом процесса собственного действия.

Фокусируясь на своих действиях, мы в то же время следим за обстановкой и быстро реагируем на неожиданные сигналы — например, если кто-то позовет нас по имени. Здесь мы имеем дело с важным типом ментальных процессов, которые можно назвать полу-осознанными — когда мы знаем, чем заняты, но эта занятость находится вне сферы сфокусированного внимания⁶. На фоне этого потока восприятия разворачиваются основные события, находящиеся в фокусе внимания. Таким образом, осознание времени дано нам как минимум в двух планах — в плане восприятия динамики фоновой ситуации и в плане целенаправленной деятельности, причем каждый план настоящего имеет свою трехчастную структуру. Поскольку нас интересуют темпоральные аспекты осознанной деятельности, остановимся на том, как восприятие человеком собственных действий (традиционно разделяемых на физические и умственные) зависит от проприоцепции и принципиально отличается от восприятия «внешних» явлений.

Применительно к анализу собственной активности нужно констатировать, что базовая трехчастная структура настоящего сохраняется. Так, произнося фразу, мы помним уже сказанные слова (ретенция) и знаем, что еще не сказано (протенция) (Gallagher, 2005), при этом наше внимание сосредоточено именно на том, что еще предстоит сказать, и мы уже пытаемся представить себе, будет ли смысл всей фразы соответствовать нашему замыслу. Действие предполагает сфокусированность

⁶ К этой категории явлений относятся движения. Мы знаем, что двигаем ногами, когда ходим, но не следим за этими движениями в процессе ходьбы, а заняты передвижением по маршруту. В эту категорию попадает и значительная часть умственной работы. К примеру, композитор знает, что он сочиняет музыку, но вряд ли сможет объяснить, как он это делает.



внимания на ближайшем будущем, а не на недавнем прошлом. Если Гуссерль уделял основное внимание ретенции, то в феноменологии собственных действий ретенция уже не играет ключевой роли. В самом деле, результат прошлых действий виден в настоящем, и его уже нельзя изменить. Программа действия известна заранее, и важно лишь то, на каком этапе ее осуществления мы находимся. Надежность протенции определяется намеренным характером действия и предшествовавшим опытом. Мы экстраполируем в будущее собственное действие с гораздо большей степенью уверенности, чем результаты наблюдений того, что от нас не зависит. Мы знаем, чего мы хотим, к чему мы стремимся и что мы для этого делаем. Механизм протенции определяет чувство субъектности действия, которое необходимо для нормального переживания его темпоральной структуры. Известно, что нарушения чувства авторства своих действий у больных шизофренией коррелируют с нарушениями нормального восприятия времени: многим пациентам время представляется застывшим или циклическим, а собственные действия — бесцельными (Gallagher, 2005).

Особенности временного ощущения действия сопряжены не только с чувством субъектности, но и с тем, что действие — это квант осознанной деятельности, его элементарная, неделимая единица (Рубинштейн, 2002; Bedny, Karwowski, 2007). Неделимость действия связана с его целенаправленностью. Благодаря тому, что действие осуществляется по известному плану и направлено на достижение одной определенной цели, оно воспринимается как внутренне единый акт, а не как переменчивый временной поток, поэтому внутри действия в определенном смысле нет времени — оно все в настоящем. Перед мысленным взором действующего субъекта все действие предстает как единое вневременное целое со своей внутренней логикой и последовательностью операций. При этом основное внимание фиксируется на желаемом результате действия и на способах его достижения. Действие строится вокруг результата и осмысливается в языковом семиозисе как единое понятие (концепт), имеющее название; как подчеркивает Деннет (Dennett, 1996, с. 159), концепты существуют в нашем предметном мире потому, что у нас есть язык. Например, завязать шнурки на ботинках — это единое действие, для которого существует словесное обозначение. Движения, входящие в состав этого действия, пусть и важные сами по себе, не имеют отдельных словесных описаний, не являются понятиями языка и осваиваются по принципу «делай, как я». В языковом семиозисе действие завязывания шнурков выступает как неделимая смысловая единица. Поэтому и осознанная структура времени (прошлое — настоящее — будущее) начинает формироваться не внутри действий, а при их связывании в цепочки и структуры в реляционной области языка. Квант деятельности становится атомом времени.

Последовательность действий, к которой подстраиваются и остальные события, образует осмысленный временной ряд, организованный при помощи базовых времяобразующих соотношений «до» и «после», связывающих то, что есть (настоящее), с тем, чего уже нет (прошлое) или еще нет (будущее). Построение такого ряда возможно только в



языковом семиозисе и опирается на одну из основных функций языка — говорить о том, чего нет, и формировать мысли об отсутствующем (Morris, 1938). Отдельные сенсомоторные образы не могут стать воспоминаниями, пока они не включены в рационально и осознанно построенный временной ряд историко-биографического характера. Время «отражает — в языковом семиозисе — особенности когнитивной деятельности человеческого организма по упорядочиванию опыта взаимодействия с миром» (Кравченко, 2019а, с. 80). В первую очередь этот опыт включает в себя текущие (находящиеся «перед чувствами» здесь и сейчас) взаимодействия и отношения с миром, а также прошлые взаимодействия и отношения, которые «прошли» мимо наблюдателя (вышли за пределы его поля восприятия здесь и сейчас), но остались в памяти. Изначальная укорененность опыта в «текущем» либо уже «протекшем» чувственном восприятии объясняет тот факт, что во многих языках мира (в том числе русском и английском) грамматическая категория времени представлена бинарной оппозицией «прошедшее — настоящее», а референция к будущему осуществляется посредством аналитических конструкций, исторически сформировавшихся значительно позднее.

Сохраняющийся в памяти опыт составляет основу того, что мы называем опытным знанием, а сама память обеспечивает контроль адекватности дальнейших взаимодействий организма со средой в ситуациях, аналогичных уже пережитым. Другими словами, память позволяет ориентироваться в текущей ситуации и принимать поведенческие решения, направленные на поддержание целостности организма как живой (когнитивной) системы. Впервые переживаемый опыт, еще не отложившийся в памяти, не может выступать в роли надежного ориентира при выборе поведенческой стратегии, и это также находит отражение в языке: о действиях можно говорить как о чем-то наблюдаемом «здесь и сейчас», или как о чем-то известном в силу имеющегося у говорящего опыта, сохраненного в памяти, то есть речь идет о категоризируемых в языке двух типах знания — «феноменологическом» и «структуральном» (Goldsmith, Woisetschlaeger, 1982). Есть основания полагать, что это различие является языковой универсалией (Кравченко, 2019б) и выражается в разных языках (Kravchenko, 2018).

5. Мыследействия в прошлом и будущем

Структура настоящего включает не только физически происходящие события и совершаемые действия, но и чисто ментальные компоненты, такие как знания о прошлом и планы на будущее, которые используются для принятия решений или просто переживаются как воспоминания, мечты или фантазии. Все это построено из мыследействий на разной стадии активации — от фактически совершаемых («настоящее» настоящее) до ментально проигрываемых (например, грезы о грядущем отпуске). Такие виртуальные действия интенсифицируют наше и без того интенсивное настоящее, придавая его «многости» дополнительные измерения. Каким же образом возможное, прошлое и будущее вплетаются в ткань настоящего?



Рефлексивные мыследействия играют ключевую роль в конструировании темпоральной динамики, создавая точки разрыва (Auletta, 2011) в восприятии нами собственных действий. Благодаря этим разрывам наша когнитивная сфера расширяется, выходя за границы непосредственной чувственной данности. В языковом семиозисе мы нарушаем непрерывность экспериенциального потока, выделяя какой-то его фрагмент посредством операции различения (именования) и осмысливая это различие как самостоятельную сущность, которая может быть ре-презентирована (то есть повторно представлена) нашему восприятию в результате совершаемого мыследействия. Как воспоминания, так и образы будущего становятся главными объектами внимания, а наличная действительность отступает на второй план и служит для них фоном, своего рода декорацией-задником.

Вот простой пример. Человек стоит в только что купленной пустой квартире и размышляет о том, что в ней надо сделать. Он вспоминает ремонт родительского дома, в котором он принимал участие в детстве. Пустое пространство новой квартиры оживает эпизодами прошлого и мыследействиями ремонта (поклейки обоев, покраски потолка и т.п.). Воссозданные и обогащенные воображением, эти воспоминания органично перетекают в образы будущего ремонта. Одни и те же мыследействия оказываются как строительным материалом воспоминаний, так и фундаментом будущих планов. Обратим внимание на трехчастную структуру: будущее квартиры обретает форму в ее настоящем благодаря прошлому опыту ее нового хозяина. Напрашивается аналогия с гуссерлевской феноменологией настоящего: ретенция и протенция — это и есть прошлое и будущее в микромасштабе. Однако сходство лишь частичное. Ретенция и протенция столь же неосознанны, как и первичное восприятие, и тесно увязаны с ним в единое целое. Прошлое и будущее, напротив, — это вполне осознанные интенционально целостные конструкты, которые можно мыслить по отдельности.

Прошлое дает ключ к смыслу настоящего и формирует будущее. Представим себе встречу с одноклассником, которого мы успели забыть. Перед нами незнакомец. Но вот он называет свою фамилию, имена учителей, и происходит внезапная трансформация: незнакомец становится близким человеком, и старая дружба возобновляется. В этом примере прошлое дарит нам не просто предысторию, но прямой смысл настоящего и перспективу будущего. Для этого потребовалось переключить внимание с непосредственного восприятия на ре-презентацию прошлого опыта. Настоящее осмысляется, будучи освещено светом прошлого.

6. Прошлое в настоящем

Ре-презентация деталей доступного нашему сознанию темпорального ландшафта памяти дает нам прошлое в чистом виде, как вновь переживаемое когда-то-настоящее, соответствующее актуальным потребностям и запросам. Прошлое — это одновременно и процесс ре-презентации опыта, и продукт этого процесса. Прошлому как процессу



мыследействия отвечает грамматическое прошедшее время глаголов (мы *были*...), а результат этого процесса может принять форму существительного и стать самостоятельным объектом рефлексии (*былое*...). Такое квазиобъективное прошлое может подвергнуться трансформации, например при помощи сослагательного наклонения (Не встречал *бы* вас, не страдал *бы* так...). С мысленно изменяемым прошлым мы знакомы по литературным жанрам альтернативной истории и путешествий во времени.

Однако лишь непрерывно меняющаяся реальность настоящего только и существует в полном смысле слова. Трудность понимания таких категорий, как «время», «настоящее», «бытие», в том, что мы пытаемся рассматривать их как обычные предметы или понятия (так как их грамматическая форма как существительных предполагает эту возможность), хотя на самом деле они представляют собой сложившиеся в языке понятийные различия и соотношения между аспектами настоящего и составляющими его предметами и явлениями. Таким образом возникает иллюзия равноправия будущего, прошлого и настоящего как различных, но равнозначных моментов или интервалов времени на хронологической линии. Однако настоящее — это наша жизненная динамика в совокупности всех ее темпоральных смыслов. Настоящее объемлет все, что есть, и вся наша деятельность по реконструкции прошлого — это лишь способ понять смысл настоящего и раскрыть тайну его рождения.

Прошлое является такой же частью настоящего, как и все наши мысли и эмоции. Машина времени невозможна не физически, а логически, и именно потому, что ее действие подразумевает наличие прошлого как чего-то отдельного от настоящего, куда якобы можно переместиться. На самом деле наша память — это и есть машина времени: она позволяет переживать прошедшее, не покидая настоящего. Воспоминания конфигурируют наши взаимодействия с сегодняшним окружением. Мыслимое прошлое не составляет объективной и непрерывной хронологической оси. Она и не требуется. Мы ищем и находим в прошлом причинные связи, исторически интерпретирующие настоящее, и экстраполируем их в будущее.

Прошлое и настоящее нераздельно образуются в процессе развития личности. Если рефлексивная реконструкция прошлого нарушается, то нарушается весь ход когнитивного развития. Субъект, не осознающий собственной биографии, теряет чувство осмысленности собственных действий. Как подтверждают многочисленные и общеизвестные факты, потеря биографической памяти, как правило, сочетается с деградацией личности и общей неадекватностью (Mesulam, 1982).

Взаимообусловленность настоящего и прошлого работает и в обратную сторону: если меняется наше настоящее, то меняется и прошлое (Maturana, 2012). Жители нашей страны, особенно старшее поколение, хорошо помнят, сколько раз радикально менялся образ прошлого под влиянием политических реалий, а Дж. Оруэлл прекрасно описал этот процесс в своей антиутопии «1984». Мы все знакомы с идеализацией умерших, детства и вообще с ностальгией по прошлому. Возможно и



обратное: разочарование в прежних иллюзиях может привести к негативной тенденциозности в образе собственного прошлого. В подобных случаях аффективную тональность рефлексии задают постоянно меняющиеся эмоции. В этой «экологии времени» проявляется суть человека как темпорального существа, который не просто живет в заданной извне темпоральной реальности, но активно ее формирует.

7. Будущее как мыследействие

Смысл и функция будущего могут напомнить о гуссерлевской протенции, однако это лишь частичное сходство. В отличие от протенции, будущее в принципе не зависит от актуальной сенсомоторики. Его образы конструируются воображением из ре-презентированного прошлого опыта и возможных мыследействий, причем сама возможность таких мыследействий обусловлена достаточной мерой опыта, подсказывающего, что если что-то было много раз, оно, скорее всего, будет снова. Многогранность же этого опыта, категоризированного в реляционной области языка посредством знаков и метазнаков разной структурной сложности (Кравченко, 2015), позволяет конструировать самые различные сценарии для событий, мыслимых как возможные и/или вероятные, то есть как будущие. События, мыслимые как вероятные, желательные или нежелательные, вместе с мыследействиями, способствующими этим событиям или же их предотвращающими, образуют область интенциональности — неслучайно во многих языках формы будущего времени образуются с помощью модальных глаголов или глаголов движения. Трудно достижимые желания формируют мечты и фантазии (например, можно думать о своем будущем прыжке на аттракционе банджи-джампинг в Испании, не сходя со своего дивана во Владивостоке и плохо представляя себе, что это такое). Планы на будущее, которые мы храним в памяти, принадлежат настоящему и даже, в определенном смысле (как состоявшиеся ранее акты мысли), прошлому.

Мы мыслим о будущем ради решения проблем настоящего. Прошлое придает смысл настоящему в плане генетическом и когнитивном, а будущее — в плане интенциональном. Если прошлое помогает понять и узнать настоящее, то будущее разъясняет нам его назначение. Если в прошлом мы ищем ответ на вопрос «Почему?», то будущее отвечает на вопрос «Зачем?». Мы все время в пути: «Путник, у твоих стоп дорога и более ничего. Иди и проложи тропу» (Varela, 1987, p. 63). Если прошлое — это, условно говоря, пункт отправления, то будущее — это один из возможных пунктов следования, который выбирает путник. И то и другое необходимо, если мы хотим увидеть весь путь в его целостности. Будущее помогает нам действовать намеренно.

Конструирование будущего в мыследействиях субъекта можно представить себе как результат реактивации и трансформации переосмысленного опыта прошлого. Если прошлое — это процесс рефлексии над динамикой жизненного опыта, то теперь результат этой рефлексии становится объектом нового мыследействия, результат кото-



рого Пиаже называет «отрефлексированной абстракцией» или «рефлексивной мыслью» (Piaget, 1977; Glasersfeld, 1995). Будущее — это порождение интенциональной творческой рефлексии над опытом прошлого.

8. Заключение

Предложенный нами подход помогает взглянуть на концептуальную структуру времени с новых позиций. Временные категории настоящего, прошлого и будущего составляют осознанный способ взаимодействия человека с миром и со своей когнитивной динамикой (что, в принципе, одно и то же). Язык как семиотический механизм операций над абстракциями позволяет мыслить об отсутствующем. Прошлое — это мысль человека о том, чего *уже* нет, а будущее — о том, чего *еще* нет. Время — это необходимый человеку конструкт, который помогает упорядочить экспериенциальный динамический поток и организовать использование памяти и воображения для решения текущих задач. В процессе собственного развития как живой системы, обладающей уникальной способностью к языковому семиозису, человек превращает «кванты» категоризированного в языке опыта в ценностные ориентиры, получая эффективный и осмысленный контроль над своими действиями. Темпоральное мышление формирует когнитивные связи между сегментами экспериенциального потока, выходящими за рамки актуального перцептуального поля. Настоящее дается нам в многообразии внешних и внутренних аспектов, спаянных мыследействиями в едином жизненном процессе, в котором прошлое ре-презентирует то, что когда-то было нашим настоящим, а будущее во-ображает наши интенции. Такое понимание времени позволяет подойти к философским вопросам его онтологии и эпистемологии с конструктивистских позиций, открывая широкий горизонт для дальнейших исследований.

Список литературы

- Августин Аврелий.* Исповедь. История моих бедствий. М., 1992.
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М., 1990.
Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1934.
Кошелев А.Д. Очерки эволюционно-синтетической теории языка. М., 2018.
Кравченко А.В. К когнитивной теории времени и вида // *Филологические науки.* 1990. №6. С. 81–90.
Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск, 1996.
Кравченко А.В. О традициях, языкознании и когнитивном подходе // *Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство* : сб. в честь Е.С. Кубряковой. М., 2009. С. 51–65.
Кравченко А.В. Грамматика в когнитивно-семиотическом аспекте // *Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика* / сост. А.А. Кибрик, А.Д. Кошелев. М., 2015. С. 574–594.
Кравченко А.В. Эпистемологическая ловушка языка // *Вестник Томского государственного университета.* Сер.: Филология. 2016. №3. С. 14–26.
Кравченко А.В. «Сознание» как экологическое понятие // *Ноосферные исследования.* 2017. №2. С. 5–16.



Кравченко А. В. Информационные технологии и когнитивное развитие: взгляд с эколингвистических позиций // Вопросы психолингвистики. 2019а. №4. С. 76–91.

Кравченко А. В. Насколько экзотичен «принцип непосредственности восприятия» в языке пираха? // Сибирский филологический журнал. 2019б. №1. С. 148–160.

Лекторский В. А. Конструктивный реализм как современная форма эпистемологического реализма // Вопросы философии. 2018. Т. 23, №2. С. 18–22.

Леонов А. А., Лебедев В. И. Психологические особенности деятельности космонавтов. М., 1971.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность, М., 1975.

Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект / сост. В. В. Петров. М., 1995. С. 95–142.

Матурана У. Р., Варела Ф. Х. Дерево познания. М., 2001.

Охоцимский А. Д. Мыследействия как основа умственной работы // Вопросы культурологии. 2018а. №8. С. 28–40.

Охоцимский А. Д. Мыследействия как основа умственной работы // Вопросы культурологии. 2018б. №9. С. 29–41.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [1940]. СПб., 2002.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 1.

Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995.

Arendt H. The human condition. Chicago, 1998.

Auletta G. Cognitive biology: dealing with information from bacteria to minds. Oxford, 2011.

Bedny G., Karwowski W. A systemic-structural theory of activity. Boca Raton, FL, 2007.

Bergson H. Matter and memory. N. Y., 2004.

Bridgman P. W. The logic of modern physics. N. Y., 1958. Vol. 3.

Chomsky N. Reflections on language. N. Y., 1975.

Damasio A. Descartes' error: emotion, reason, and the human brain. N. Y., 1994.

Damasio A. The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness. N. Y., 1999.

Dennett D. Kinds of minds: Toward an understanding of consciousness. N. Y., 1996.

Deutsch D. The fabric of reality. L., 1997.

Druzhinin A. S. Construction of irreality: an enactive-constructivist stance on counterfactuals // Constructivist Foundations. 2020. Vol. 16, №1. P. 69–80.

Everett D. Don't sleep! There are snakes. Life and language in the Amazon jungle. N. Y., 2008.

Gallagher S. How the body shapes the mind. Oxford, 2005.

Gallagher S., Varela F. J. Redrawing the map and resetting the time: phenomenology and the cognitive sciences // Canadian Journal of Philosophy. Supplementary Volume. 2003. Vol. 29. P. 93–132.

Gendlin E. How philosophy cannot appeal to experience, and how it can // Language beyond postmodernism: Saying and thinking in Gendlin's philosophy. Evanston, 1997. P. 3–41.

Glaserfeld E. Radical constructivism: a way of knowing and learning. Bristol, 1995.

Goldsmith J., Woisetschlaeger E. The logic of the English progressive // Linguistic Inquiry. 1982. Vol. 13, №1. P. 79–89.

Guénon R. Le règne de la quantité et les signes des temps. P., 1945.

Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1927.

Husserl E. On the phenomenology of the consciousness of internal time / trans. by J. Brough. Dordrecht, 1991.

Järviölehto T. The theory of the organism-environment system: I. Description of the theory // Integrative Physiological and Behavioral Science. 1998. Vol. 33. P. 317–330.



Kravchenko A. V. Linguistic semiosis and human cognition // *Constructivist Foundations*. 2020. Vol. 15, №3. P. 285–287.

Kravchenko A. V. On the implicit observer in grammar: aspect // *The explicit and the implicit in language and speech*. Newcastle upon Tyne, 2018. P. 12–34.

Kuhn T. S. The essential tension: Selected studies in scientific tradition and change. Chicago, 1977.

Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought. N. Y., 1999.

Mach E. The analysis of sensations. N. Y., 1959.

Maturana H. R. Biology of cognition. BCL Report # 9.0. / University of Illinois. Urbana, 1970.

Maturana H. R. Biology of language: The epistemology of reality // *Psychology and biology of language and thought: essays in honor of Eric Lenneberg*. N. Y., 1978. P. 27–63.

Maturana H. R. Ontology of observing: The biological foundations of self-consciousness and of the physical domain of existence // *Texts in cybernetic theory: conference workbook (American Society for Cybernetics Conference, 18–23 October, 1988)*. Felton, 1988. P. 4–53.

Maturana H. R. Reflections on my collaboration with Francisco Varela // *Constructivist Foundations*. 2012. Vol. 7. P. 155–164.

Maturana H. R. The biological foundations of self-consciousness and the physical domain of existence // *Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien?* Munich, 1990. P. 47–117.

Maturana H. R., Mpodozis J., Letelier J. C. Brain, language, and the origin of human mental functions // *Biological Research*. 1995. Vol. 28. P. 15–26.

Maturana H. R., Varela F. J. The tree of knowledge: the biological roots of human understanding. Boston, 1984.

Mesulam M. Slowly progressive aphasia without generalized dementia // *Annals of Neurology*. 1982. Vol. 11, №6. P. 592–598.

Morris C. W. Foundations of the theory of signs // *International encyclopedia of unified science*. Chicago, 1938. Vol. 1, part 2. P. 1–59.

Noë A. Action in perception. Cambridge ; L., 2006.

Piaget J. Genetic epistemology. N. Y., 1970.

Piaget J. Recherches sur l'abstraction réfléchissante. P., 1977. Vol. 1.

Rizzolatti G., Sinigaglia C. The functional role of the parieto-frontal mirror circuit: interpretations and misinterpretations // *Nature Reviews Neuroscience*. 2010. Vol. 11. P. 264–274.

Schmidt R. A., Lee T. D. Motor control and learning. A behavioral emphasis. Leeds, 1999.

Steffe L. P. Radical constructivism: A scientific research program // *Constructivist Foundations*. 2007. Vol. 2, №2-3. P. 41–49.

Stewart J., Gapenne O., Di Paolo E. A. (eds.) Enaction. Toward a new paradigm for cognitive science. Cambridge, MA, 2011.

Thompson E. Mind and life. Cambridge, MA, 2007.

Urban P. Foregrounding the relational domain – phenomenology, enactivism and care ethics // *Horizon*. 2016. Vol. 5, №1. P. 171–182.

Varela F. J. Laying down a path in walking // *Gaia: A way of knowing. Political implications of the new biology*. Hudson, NY, 1987. P. 48–64.

Varela F. J., Thompson E., Rosh E. The embodied mind: Cognitive science and human experience. Cambridge, MA, 1991.

Ward D., Silverman D., Villalobos M. Introduction: The varieties of enactivism // *Topoi*. 2017. Vol. 36. P. 365–375.

Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. L., 1922.

Zahavi D. Inner time-consciousness and pre-reflective self-awareness // *The new Husserl: A critical reader*. Bloomington, 2003. P. 157–180.



Об авторах

Андрей Дмитриевич Охоцимский, кандидат физико-математических наук, независимый исследователь, Бельгия.

E-mail: andrew_simsky@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0902-3634

Александр Владимирович Кравченко, доктор филологических наук, профессор, Байкальский государственный университет, Россия.

E-mail: sashakr@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-6300-0540

Андрей Сергеевич Дружинин, кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный институт (университет) международных отношений МИД России, Россия.

E-mail: andrey.druzhinin.89@mail.ru

Для цитирования:

Охоцимский А. Д., Кравченко А. В., Дружинин А. С. Мыследействия и генезис времени в языковом семиозисе // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 7–28. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-1.

ACTION-THOUGHTS AND THE GENESIS OF TIME IN LINGUISTIC SEMIOSIS

A. Simsky¹, A. V. Kravchenko², A. S. Druzhinin³

¹ independent researcher

Groenstraat 169, Leuven, Belgium

² Baikal State University

11 Lenin St., Irkutsk 664003, Russia

³ MGIMO University

76 Vernadsky Ave., Moscow, Russia

Submitted on January 3, 2021

doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-1

The genesis of time is explained in the spirit of constructivism combined with the activity approach to cognition. The cardinal temporal categories of present, past, and future are discussed in terms of action-thoughts understood as elementary units of activity whose structure is determined by linguistic semiosis. Husserl's tripartite model of the phenomenology of time (prime perception, retention, protention) is applied to the analysis of the subject's experience of his actions. It is demonstrated that, while our lived present is composed of the actually performed actions, our past and future are constructed by reflexive action-thoughts in the cognitive domain of language. It is emphasized that the construction of a temporal sequence that unites what is and what already or still is not, is possible only in linguistic semiosis. The analogy with Husserl's tripartite structure of the time-consciousness flow helps elucidate the triad 'present-past-future' as an instance of the epistemological trap of language: 'past' and 'future' are mental constructs that belong to the present just as any other act of thinking.

Keywords: epistemology, constructivism, phenomenology, language, action, temporality



References

- Arendt, H., 1998. *The Human Condition*. Chicago.
- Arutunova, N.D., 1999. *Yazyk i mir cheloveka* [Language and the Human World]. Moscow (in Russ.).
- Augustine of Hippo, 1992. *Ispoved'*. *Istoriya moikh bedstviy* [Confessions of St. Augustine]. Moscow (in Russ.).
- Auletta, G., 2011. *Cognitive Biology: Dealing with information from bacteria to minds*. Oxford.
- Bedny, G. and Karwowski, W., 2007. *A Systemic-Structural Theory of Activity*. Boca Raton, FL.
- Bergson, H., 2004. *Matter and Memory*. New York.
- Bernstein, N.A., 1990. *Fiziologiya dvizhenii i aktivnost'* [Physiology of Movement and Activity]. Moscow (in Russ.).
- Bridgman, P.W., 1958. *The Logic of Modern Physics*. Vol. 3. New York.
- Chomsky, N., 1975. *Reflections on Language*. New York.
- Damasio, A., 1994. *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. New York.
- Damasio, A., 1999. *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. New York.
- Dennett, D., 1996. *Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness*. New York, NY.
- Deutsch, D., 1997. *The Fabric of Reality*. London.
- Druzhinin, A.S., 2020. Construction of irreality: an enactive-constructivist stance on counterfactuals. *Constructivist Foundations*, 16(1), pp. 69–80.
- Everett, D., 2008. *Don't Sleep! There are Snakes: Life and language in the Amazon jungle*. New York.
- Fasmer, M., 1986. *Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka* [Etymological dictionary of the Russian language]. Vol. 1. Moscow (in Russ.).
- Gallagher, S. and Varela, F.J., 2003. Redrawing the map and resetting the time: Phenomenology and the cognitive sciences. *Canadian Journal of Philosophy*, 33(sup1), pp. 93–132.
- Gallagher, S., 2005. *How the Body Shapes the Mind*. Oxford.
- Gendlin, E., 1997. How philosophy cannot appeal to experience, and how it can. In: D. M. Levin, ed. *Language Beyond Postmodernism: Saying and thinking in Gendlin's philosophy*. Evanston, pp. 3–41.
- Glaserfeld, E. von, 1995. *Radical Constructivism: a way of knowing and learning*. Bristol.
- Goldsmith, J. and Woisetschlaeger, E., 1982. The logic of the English progressive. *Linguistic Inquiry*, 13(1), pp. 79–89.
- Guénon, R., 1945. *Le règne de la quantité et les signes des temps*. Paris.
- Heidegger, M., 1927. *Sein und Zeit*. Tübingen.
- Husserl, E., 1991. *On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time*. Translated by J. Brough. Dordrecht.
- Järvillehto, T., 1998. The theory of the organism-environment system: I. Description of the theory. *Integrative Physiological and Behavioral Science*, 33, pp. 317–330.
- Koshelev, A.D., 2018. *Ocherki evolyutsionno-sinteticheskoi teorii yazyka* [Essays on the Evolutionary-Synthetic Theory of Language]. Moscow (in Russ.).
- Kravchenko, A.V., 1996. *Yazyk i vospriyatie: Kognitivnye aspekty yazykovoi kategorizatsii* [Language and Perception: Cognitive Aspects of Language Categorization]. Irkutsk (in Russ.).
- Kravchenko, A.V., 2009. On traditions, linguistics, and a cognitive approach. In: N.K. Riabtseva, ed. *Gorizonty sovremennoi lingvistik: traditsii i novatorstvo* [The Horizons of Modern Linguistics: Tradition and Novelty]. Moscow, pp. 51–65 (in Russ.).



- Kravchenko, A. V., 2015. Cognitive-semiotic grammar. In: A. A. Kibrik and A. D. Koshelev, eds. *Yazyk i mys'l': sovremennaya kognitivnaya lingvistika* [Language and Thought: Contemporary Cognitive Linguistics]. Moscow. pp. 574–594 (in Russ.).
- Kravchenko, A. V., 2016. The epistemological trap of language. *Tomsk State University Journal of Philology*, 3(41), pp. 14–26 (in Russ.).
- Kravchenko, A. V., 2017. "Consciousness" as an ecological concept. *Noosfernye issledovaniya* [Noosphere studies], 2, pp. 5–16 (in Russ.).
- Kravchenko, A. V., 2019a. Information technology and cognitive development: an ecolinguistic perspective. *Journal of Psycholinguistics*, 4(42), pp. 76–91 (in Russ.).
- Kravchenko, A. V., 2019b. How exotic is the 'immediacy of experience principle' in Pirahã? *Siberian Journal of Philology*, 1, pp. 148–160 (in Russ.).
- Kravchenko, A. V., 1990. Towards a cognitive theory of tense and aspect. *Filologicheskije nauki* [Studies in Philology], 6, pp. 81–90 (in Russ.).
- Kravchenko, A. V., 2018. On the implicit observer in grammar: aspect. In: L. M. Liashchova, ed. *The Explicit and the Implicit in Language and Speech*. Newcastle upon Tyne, pp. 12–34.
- Kravchenko, A. V., 2020. Linguistic semiosis and human cognition. *Constructivist Foundations*, 15(3), pp. 285–287.
- Kuhn, T. S., 1977. *The Essential Tension: Selected studies in scientific tradition and change*. Chicago.
- Lakoff, G. and Johnson, M., 1999. *Philosophy in the Flesh: The embodied mind and its challenge to western thought*. New York.
- Lektorsky, V. A., 2018. Constructive realism as a modern form of epistemological realism. *Voprosy filosofii*, 23(2), pp. 18–22 (in Russ.).
- Leonov, A. A. and Lebedev, V. I., 1971. *The Psychological Aspects of Activities in Space Flight* [Psychological features of the activities of astronauts]. Moscow (in Russ.).
- Leontiev, A. N., 1975. *Activity. Consciousness. Personality* [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow (in Russ.).
- Mach, E., 1975. *The Analysis of Sensations*. New York.
- Maturana, H. R., 1970. *Biology of cognition*. BCL Report # 9.0. University of Illinois. Urbana, 1970.
- Maturana, H. R., 1978. Biology of language: The epistemology of reality. In: G. Miller and E. Lenneberg, eds. *Psychology and Biology of Language and Thought: Essays in honor of Eric Lenneberg*. New York, pp. 27–63.
- Maturana, H. R., 1978. Ontology of observing: The biological foundations of self-consciousness and of the physical domain of existence. In: *Texts in cybernetic theory: conference workbook (American Society for Cybernetics Conference, 18–23 October 1988)*. Felton, pp. 4–53.
- Maturana, H. R., 1984. *The tree of knowledge: the biological roots of human understanding*. Boston.
- Maturana, H. R., 1990. The biological foundations of self-consciousness and the physical domain of existence. In: *Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien?* Munich, pp. 47–117.
- Maturana, H. R., 1995. Biology of Cognition. In: V. V. Petrov, ed., *Jazyk i intellekt* [Language and intelligence]. Moscow, pp. 95–142 (in Russ.).
- Maturana, H. R., 2001 *Drevo poznaniya* [Tree of knowledge]. Moscow (in Russ.).
- Maturana, H. R., 2012. Reflections on my collaboration with Francisco Varela. *Constructivist Foundations*, 7, pp. 155–164.
- Maturana, H. R., Mpodozis, J. and Letelier J. C., 1995. Brain, language, and the origin of human mental functions. *Biological Research*, 28, pp. 15–26.
- Mesulam, M., 1982. Slowly progressive aphasia without generalized dementia. *Annals of Neurology*, 11(6), pp. 592–598.
- Morris, C. W., 1938. Foundations of the theory of signs. In: O. Neurath, R. Carnap and C. W. Morris, eds. *International Encyclopedia of Unified Science*. Vol. 1, Part 2. The Chicago, pp. 1–59.



- Noë, A., 2006. *Action in Perception*. Cambridge & London.
- Okhotsimsky, A. D., 2018a. Thought actions as the basis of mental work. *Voprosy kul'turologii* [Questions of cultural studies], 8, pp. 28–40 (in Russ.).
- Okhotsimsky, A. D., 2018b. Thought actions as the basis of mental work. *Voprosy kul'turologii* [Questions of cultural studies], 9, pp. 29–41 (in Russ.).
- Piaget, J., 1977. *Recherches sur l'abstraction reflechissante*. Vol. 1, 2. Paris.
- Piaget, J., 1970. *Genetic Epistemology*. New York.
- Rizzolatti, G. and Sinigaglia, C., 2010. The functional role of the parieto-frontal mirror circuit: interpretations and misinterpretations. *Nature Reviews Neuroscience*, 11, pp. 264–274.
- Rubinstein, S. L., 1940. *Osnovy obshchei psikhologii* [Fundamentals of General Psychology]. Moscow (in Russ.).
- Schmidt, R. A. and Lee, T. D., 1999. *Motor Control and Learning: A behavioral emphasis*. Leeds.
- Shchedrovitsky, G. P., 1995. *Izbrannyye trudy* [Selected works]. Moscow (in Russ.).
- Steffe, L. P., 2007. Radical constructivism: A scientific research program. *Constructivist Foundations*, 2(2-3), pp. 41–49.
- Stewart, J., Gapenne O. and Di Paolo, E. A., eds., 2011. *Enaction: Toward a new paradigm for cognitive science*. Cambridge, MA.
- Thompson, E., 2007. *Mind and Life*. Cambridge, MA.
- Urban, P., 2016. Foregrounding the relational domain – phenomenology, enactivism and care ethics. *Horizon*, 5(1), pp. 171–182.
- Varela, F. J., 1987. Laying down a path in walking. In: W. I. Thompson, ed. *Gaia: A way of knowing. Political implications of the new biology*. Hudson, NY, pp. 48–64.
- Varela, F. J., Thompson, E. and Rosh, E., 1991. *The Embodied Mind: Cognitive science and human experience*. Cambridge, MA.
- Vygotsky, L. S., 1934. *Myshlenie i rech'* [Thought and Language]. Moscow (in Russ.).
- Ward, D., Silverman, D. and Villalobos, M., 2017. Introduction: The varieties of enactivism. *Topoi*, 36, pp. 365–375.
- Wittgenstein, L., 1922. *Tractatus logico-philosophicus*, London.
- Zahavi, D., 2003. Inner time-consciousness and pre-reflective self-awareness. In: D. Welton, ed. *The New Husserl: A critical reader*. Bloomington, pp. 157–180.

The authors

Dr Andrew Simsky, Independent Researcher, Belgium.

E-mail: andrew_simsky@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0902-3634

Prof. Alexander V. Kravchenko, Baikal State University, Russia.

E-mail: sashakr@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-6300-0540

Dr Andrey S. Druzhinin, Associate Professor, MGIMO University, Russia.

E-mail: andrey.druzhinin.89@mail.ru

To cite this article:

Simsky, A., Kravchenko, A. V., Druzhinin, A. S. 2021, Action-thoughts and the genesis of time in linguistic semiosis, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 7–28. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-1.

СОБЫТИЯ И НАРРАЦИЯ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ

С. В. Герасимов¹

¹ Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21

Поступила в редакцию 15.12.2020 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-2

Рассмотрен динамический процесс взаимодействия событий и нарративов. В результате взаимодействия возникают устойчивые связи «событие – нарратив», которые оказывают влияние на формирование и трансформацию социально-культурных процессов, протекающих в обществе. Связки подобного типа становятся основой нормативно-ценностной системы социума. Сформированный корпус связей «событие-нарратив» создает поведенческие паттерны, служит мотиватором участников социума, поводом для поступков и инициатором событий-террасок, неизбежно наступающих в результате реакции отклика такого корпуса на события в действительности. Возникающие связи «событие – нарратив – поступок» представляют собой систему с управляемой обратной связью. В зависимости от изменения факторов возникновения и протекания событий такая система может как усиливать, так и уменьшать результат и последствия наступления событий. В этих системах событие выполняет функцию триггера, запускающего социально-культурные процессы и создающего социальную реальность.

Ключевые слова: событие, нарратив, социально-культурный процесс, социальная реальность, поступок

Что такое событие

Событие – понятие, смысл которого постигается в основном интуитивно, им оперируют мыслители с эпохи Древнего мира до современности, оно используется во всех гуманитарных, естественных и точных науках. При рассмотрении феномена «событие» можно выделить несколько предикаций, составляющих возможную будущую дефиницию. В первую очередь необходимо рассмотреть роль события в запуске, изменении и завершении социально-культурных процессов. Основная гипотеза заключается в том, что событие представляет собой триггер, управляющий динамикой социокультурных процессов. Ранее были рассмотрены математические модели семантической основы конструирования реальности (Герасимов, Тульчинский, 2018).

Социальная реальность представляет собой пазл, собранный из сущностей и событий, которые связывают социально-культурное пространство по многим векторам, создают связь времен. События могут иметь свои события-причины и события-последствия. Такие события



могут аналогично сущностям формировать родовидовые системы и таксономии. В зависимости от масштаба события, его влияния на систему причин и следствий события могут генерировать последовательности детерминированных событий-террасок (Воробьев, 2007). Множество событий, их ветвление и последовательности составляют физическую действительность мира, в том числе и социально-культурное пространство, определяют динамику социокультурных процессов.

При рассмотрении родового понятия «событие» и его разновидности «специальное событие» необходимо отметить, что в их связи присутствует квазипарадокс. Многие мыслители (Кант, Делёз, Пеги, Арндт и другие) выделяют у события такие субстанциональные признаки, как внезапность, непредсказуемость (Кант, 2002, с. 100–101), неуправляемость, экстраординарность, катастрофичность, революционность (Магун, 2008) и пугающую неизбежность. В отличие от «события», «специальное событие» рукотворно, планируемо, организуемо и управляемо (Гульчинский, Герасимов, Лохина, 2019). Ощущение конфликта возникает из-за того, что для зрителя или слушателя специальное событие по-прежнему несет характер внезапности. Этого нельзя сказать об организаторах, для них специальное событие — это отработанное до мелочей действие, в котором нет места случайностям и неожиданностям. Для определения возможностей взаимодействия событий и нарративов следует рассмотреть механизмы возникновения нарратива, скрытый перформатизм наррации, процесс возникновения поступка-события, основанного на нарративе.

В социальной и тем более в культурной реальности события могут выстраиваться в прямой последовательности, создавая прямой сюжет наррации, а могут идти ретроспективно или произвольно, переходить из одной причинно-следственной цепочки в другую. Угроза неизбежного наступления событий или последствий событий создает драматический момент художественного произведения. Фабула произведения представляет собой сумму событий, а сюжет — «художественно построенное распределение событий в произведении» (Томашевский 1996, с. 181). Свойственная человеку интенционность разделяет события на важные и второстепенные, заслуживающие памяти или забвения. Какие-то события нужно воспроизводить, другие — забывать (Гуссерль, 2001). Можно предположить, что отношения человека и событий в истории, сопричастность человека тем или иным событиям помогают его самоидентификации, служат источником поступков. Отношение к событию, его оценка в общественном мнении социума во многом определяют аналитический профиль культуры, ее барьеры и потенциалы (Гульчинский, 2012). Специальные события — не только маркер принадлежности к той или иной социальной группе, но и инструмент манипуляции: развлечения, воспитания, инкультурации, маркетинга, религии, брендинга, символической политики (Герасимов, 2015; 2017).

Все прошлые события, осмысленные и упакованные в социально-культурную реальность, создают нормативно-ценностную модель (Гульчинский, 2018), которая фиксируется социумом, сохраняется в памяти в виде нарративов и других артефактов культуры. В этом смысле следу-



ющее событие — это трансгрессия, выход за пределы пережитого опыта, перенос человека за границу семантического поля (Лотман, 1970, с. 282). Событие, которое всегда является трансгрессией, может быть трансцендентальным выходом за пределы предыдущего состояния.

С наступлением информационного общества процессы формирования связи событий и нарративов увеличились кратно. Переход к цифровым счетным машинам сделал «событие переключения системы» минимальной единицей информации. В этом смысле события — это работа триггеров в процессорах счетных устройств, которые происходят постоянно в неисчислимом количестве. В информационном обществе событие и бытие можно интерпретировать в терминах булевой алгебры как квазибесконечный набор единиц и нулей, который представляет собой текст нового информационного общества. Подобная репрезентация физической реальности повлияла на динамику социокультурных процессов, сделала возможными быстрое получение, сохранение, обработку и распространение информации. Кроме того, новые возможности повлияли на роли членов социума, переведя большинство из них из статуса получателя информации в статус журналиста, автора, спикера, режиссера, критика, политика и т. д. Наличие интерактивной игровой инфраструктуры позволило всем желающим реализовать для себя персональные реальности со своими коммуникационными параметрами, логиками, физическими, культурными, социальными, юридическими, нормативно-ценностными моделями и особенностями. В этом смысле событие можно использовать в исследовании динамики событийной онтологии (Герасимов, Тульчинский, 2018).

Событие представляет собой разновидность информации, оно не существует без материального носителя. Нет «бестелесных событий», событие не может быть абстрактной и не воплощенной ни во что сущностью. Оно всегда предполагает наличие материальной репрезентации — это знак, электромагнитная волна, поток частиц, величина намагниченности, перепад давления, спин электрона и т. д. На события распространяются ограничения физического мира с его законами и ресурсами. Об этом пишут Р. Ландауэр (Landauer, 1996), П. У. Бриджмен (Bridgman, 1934) и другие.

В процессе создания и воспроизведения наррации в ней проявляется явное или скрытое побуждение к поступку. При этом поступок — это синтез «лично-самостного» и «социально-культурного» проявления человека (Тульчинский, 2020), в котором нарратив запускает через внутреннее воздействие на человека его внешние проявления. Это механизм основан на поведенческих паттернах, которые формируются двумя способами. Во-первых, как набор безусловных рефлексов, результат выживания человека как вида. Во-вторых, как личный опыт каждого человека, представленный выработанным за время жизни множеством реакций на события. Личный опыт, результат воспитания, инкультурации и социализации ложатся на инстинкты, ослабляя или укрепляя их, а иногда и упаковывая их в правила и обычаи конкретной культуры. Эволюционируя от простых («животных») уровней к уровням «человеческим» (по Гартману), человек переживает конфликт по-



веденческих паттернов. Если на животном уровне все оправдывается желаниями сна, еды, размножения и безопасности, то уже на уровнях сравнения и деловой активности ими можно пренебречь и сублимировать их. Создаваемые традиции и правила делают животное поведение недопустимым. В результате в человеке складывается сложная конфликтная система противоречивых поведенческих паттернов, которые дают противоположные рекомендации по совершению поступков, создавая систему ограничений и запретов, производя «тот самый» драматизм человеческой жизни.

Процесс осознания причин для поступка (как рефлексорных, так и осознанных) происходит в форме слов. Таким образом, создаются событийные смысловые ансамбли, массивы нарративов. «Для выражения поступка изнутри и единственного бытия-события, в котором совершается поступок, нужна вся полнота слова: и его содержательно-смысловая сторона (слово-понятие), и наглядно-выразительная (слово-образ) и эмоционально-волевая (интонация слова) в их единстве» (Бахтин, 2003, с. 31). В результате нарративного воздействия на личностные качества в силу внутреннего перформативного ядра каждого нарратива происходит поступок-событие (Герасимов, 2020).

Ощущая принципиальный разрыв между природными и антропогенными событиями, авторы нарративов пытались интегрировать их в единый процесс путем очеловечивания природных событий. Герои обращаются к ветру, воде, огню, земле и т. д. по аналогии с инициацией антропогенных событий. Таким образом, во многих религиозных текстах человек разговаривает с источником событий, пытается объяснить произошедший и изменить будущий событийный ряд. Так силы природы обретают в сознании человека человеческие свойства: им можно помолиться, с ними можно договориться, принести в жертву трансцендентному пространству причин нечто ценное (Герасимов, 2013). Такой источник всех сил может быть представлен в зависимости от традиций конкретных культурных групп, которых в истории различных культов и верований насчитывалось великое множество (Фрэйзер, 2006). В некоторых культурах роль источника событий была перенесена с самого источника в тексты, где он сформировал нормы права, морали и религии. До настоящего времени религиозные тексты остаются непосредственной инструкцией к действиям миллионов людей. В нерелигиозной сфере также существует большой массив текстов, который предписывает наступление событий: уставы, конструкторская документация, должностные инструкции, правила безопасности и т. д. Как и в религиозных текстах, человек обязан верить, что предписываемое действие верно и служит во благо человеку и обществу.

Механизм нарратогенеза

Ж. Делёз отметил: «Между событиями-эффектами и языком — самой возможностью языка — имеется существенная связь. Именно события выражаются, или могут быть выражены, высказываются или могут быть высказаны — по крайней мере, в возможных предложениях» (Де-



лѐз, 1998, с. 28). Создание нарративов – результат коммуникационных процессов. В процессе общения у коммуникантов возникает описание событий и сущностей, которые иногда совпадают, а иногда разнятся между собой. Если в случае совпадения коллективный взгляд формируется достаточно быстро и становится аксиомой, то в результате несовпадения оценки или наблюдения окружающей действительности возникает процесс обсуждения, рассуждения, исследования, поиска общего знаменателя. Этот процесс оптимизируется достижением стремления к созданию единого для всех участников определения, описания, отношения к внешнему миру. По причине разного осмысления событий и сущностей как у отдельных людей, так и у социальных групп возникают несовместимые между собой точки зрения на создаваемые конвенциональные концепты, на поступки, на последствия таких поступков и событий. Для разрешения несоответствий используется широкий набор практик – от отнесения «невыясненного» на счет непознаваемых сил различного происхождения до вооруженных конфликтов. В современном пространстве публичных коммуникаций могут сосуществовать реальные герои, враги и друзья, вымышленные персонажи и истории, несуществующие сущности и события. Находясь в едином нарративе, несуществующее и реальное становятся одинаковыми по силе воздействия на человека, на события, на поступки. Таким образом, источником некоторых событий могут служить созданные коллективными соглашениями нормы и правила, которые зависят не столько от реальной необходимости, сколько от соответствия установкам конкретной социальной группы, их уровню постижения действительности, их представлениям о мире, их коллективному опыту.

В каждой социально-культурной среде существует процесс фильтрации событий от наиболее важных к менее важным. При этом происходит их систематизация, оптимизация и минимизация, сведение к понятной для всех истории или песне в удобном для воспроизведения и ретрансляции формате. Важное свойство нарратива – доступность каждому дееспособному члену социума, в том числе и через массовую культуру. Нарративы в процессах социально-культурного отражения реальности находятся в постоянной динамике, они могут притягивать в себя модные обороты речи, актуальные сюжеты, современных героев. В результате большого количества повторов, коррекций и обсуждений формируется фиксированный на определенное время канон. Он используется в целях воспитания ребенка (и инкультурации иностранца) на примере «другого».

После того как создается нарратив, он служит отправной точкой для событийной идентификации. Каждый участник социально-культурного процесса поверяет себя относительно нарратива. Либо он согласился, понял и принял десигнацию и логику, содержащуюся в тексте, либо нет. В случае неприятия конвенционального нарратива у человека есть выбор в зависимости от типа культуры и традиции внести коррективы в коллективный договор – убежать, согласиться, попытаться изменить существующее положение. Показателен пример Галилео Галилея, который пытался доказать, что Земля вращается вокруг



Солнца. Противоречие с коллективным нарративом едва не стоило ему жизни. Современное общество также склонно к насилию в отношении персонажей, продвигающих ревизионистские подходы к устоявшимся канонам и коллективной памяти. Несмотря на современную науку, в частности астрономию, большинство людей современного «продвинутого» общества по-прежнему использует в своей речи оборот «восход солнца», а не «поворот земли вокруг своей оси», несмотря на очевидное несоответствие названия события реальности.

Нарратив готовит слушателя к будущим событиям с помощью советов, рекомендаций и примеров поступков в различных аналогичных ситуациях. Кроме этого, в работах кинематографистов, литераторов, футурологов совершается работа по предвидению будущих событий и возможных последствий их наступления. Нарратив выступает в роли тренажера для проверки возможных сценариев будущего.

Кроме событийного полигона нарратив играет роль учителя при смене социального статуса, при взрослении читателя, при переезде в другие страны и культуры. Нарратив помещает читателя или зрителя в условия возможных ситуаций, которые требуют нестандартных решений, и чем сложнее ситуации (например, в детективе), тем больший интерес они вызывают у аудитории.

Благодаря тому, что связки нарративов и событий широко комментируются в публичном пространстве они становятся элементом коллективной памяти. Нарративы, созданные как реакция на события, представляют собой необходимый элемент для вхождения в социальное пространство, создают социально-культурный контекст реальности.

События и нарративы как система с положительной обратной связью Проблема выхода за уровень «шума»

Событийная генерация нарративов приводит в движение процесс формирования поведенческих паттернов. Поскольку человек всегда обеспокоен проблемой, как поступить в той или иной ситуации, ему интересен опыт других людей в стандартных и необычных ситуациях. Весь процесс обучения, социализации и инкультурации состоит в формировании стандартных реакций на стандартные события, сформированных в культуре. При этом с помощью наглядных примеров (поступков литературных героев или реальных исторических персонажей) демонстрируется отклик социальной системы на каждое действие или бездействие. На этой основе строятся технологии управления поведенческими паттернами, такими как символическая политика, историческая память (Гульчинский, 2015), а в случае разделения мнений и конфликта интересов манипулирующих возникают информационные (Бухарин, 2007) и гибридные войны (Hoffman, 2009).

Процесс событийного нарратогенеза можно описать как **систему с обратной связью**. Результат работы системы влияет на систему таким образом, что система учитывает его в качестве входящего сигнала. Событие оценочного описания может спровоцировать усиление значения незначимых или малозначимых событий, влияет на всю систему оцен-



ки реальности. В случае положительной обратной связи (ПОС) система после многократного повторения самовозбуждается и переходит к автогенерации событий — террасок, а также групп нарративов, иногда слабо связанных с реальностью. Это наблюдается на примере лавинообразного возникновения и распространения сплетен, слухов, страшилок и т. д. Процесс автогенерации может вызвать разрушение смысловой и нормативно-ценностной основ нарративов. При этом разрушается и ПОС, нарративы создаются заново. Подобное действие происходит в результате глобальных стрессов — войн, революций, эпидемий и т. д.

Самые ранние примеры создания из событий и нарративов систем с положительной обратной связью представляют собой агитацию и пропаганду (Почепцов, 2018). Их главная задача — выйти за уровень информационного «шума». Понятие шума в информационной среде связано с ежедневным присутствием в коммуникационном пространстве описания множества событий. Человек информационного общества тратит большое количество времени и усилий для фильтрации событийного ряда и отбора важной для него информации. В результате накопления опыта существования в коммуникационном пространстве вырабатывается система защиты от избыточной и ненужной информации (Герасимов, 2015). Для «пробития» защиты от манипуляторов с каждым годом требуется все большее мастерство проведения информационной атаки. По мере совершенствования искусства привлекать внимание эволюционировали и защитные реакции человека. Градиент изменения степени недоверия и безразличия нелинейно изменяется от мегаполисов с высоким количеством коммуникаций к небольшим городам и поселкам, где плотность коммуникаций ниже, а доверие, соответственно, выше. Коммуникационная среда исторически развивается ступенчато, каждый раз «взрыву» коммуникационной активности способствуют глобальные события-изобретения. Вот наиболее значимые из них: распространение письменности, изобретение печатного станка, организация системы почтовых коммуникаций, последовательные изобретения телеграфа, телефона, радио и телевидения, широкое распространение Интернета.

Событийный «шум»

В электронике понятие «шум» связывается с фоном, на котором полупроводник информации пытается выделить полезный сигнал. Информационный шум — это совокупность событий, происходящих в период выделения события из общего ряда происходящего.

С наступлением информационного общества количество информации растет экспоненциально. Растет и плотность, и количество потоков / каналов информации. Каждая информация — это событие, и его величина зависит от степени новизны, специфики относительно конкретного человека и социальной группы, способности выделяться на фоне других сообщений.

Постоянный поток информации, состоящий из событий, вырабатывает у человека ожидание новостей. Если информации не хватает, то



человек испытывает голод по информации (Taylor, 1962) (*information needs*, согласно терминологии Роберта Тейлора). В случае, когда человеку не хватает какой-то конкретной информации, он тратит ресурсы на ее поиск.

Современный человек находится в ситуации избытка информации и дефицита необходимой информации одновременно. Именно поэтому пользователи социальных сетей большую часть свободного, а иногда и рабочего / учебного времени «скролят» (от англ. *scrolling*, просматривание) ленты новостей в поисках информационного повода, которым можно поделиться с подписчиками, привлечь внимание к себе, поднять свой статус в сетевых сообществах. Поскольку порождение, распространение, хранение и обработка информации в информационном обществе — субстанциональный признак, мы можем наблюдать массовый поиск такой информации. Спрос рождает предложение, и на пространства информационных лент выносятся большое количество событий, которое множится и тиражируется в цифровой среде СМИ, информационными агентствами, активными пользователями социальных сетей.

Событие как отношение «сигнала» к «шуму»

В ситуации, когда интенсивность события превышает шумовой порог, происходит восприятие события как явления, выходящего за рамки математического ожидания. В случае, когда событие не может преодолеть шумовой порог, оно остается незамеченным в массиве информации.

$$\Pi = A_c / \text{Ш при } \Pi > 1,$$

где Π — порог события; A_c — амплитуда события; Ш — информационный шум.

В этой формуле в случае, когда значения Π больше 1, мы наблюдаем событие. Эта простая формула создает возможности для управления событием через управление шумом.

В условиях, когда информационный поток ослаблен, любое происшествие становится событием. В период информационного затишья информационные ленты начинают репостить малоинтересные и не имеющие большого значения для целевой аудитории события. Такие события формируют бэкграунд и информируют, что источник сообщения «жив и здоров», находится в состоянии *bypass*, готов при первом стоящем событии наполнить ленты актуальной информацией.

Существует технология подавления высокого значения события путем увеличения уровня шума. Обычно шум нарастает на фоне событий большого масштаба. К ним относятся спортивные соревнования, культурные форумы, маркетинговые кампании, фестивали, военные действия, яркие политические события, массовые праздники и т.д. На фоне ярких событий события меньшего характера «тонут» в информационном шуме. В период ярких событий можно «спрятать» какое-нибудь непопулярное событие, на которое возможна непрогнозируемая реакция целевой аудитории. Технологией апробации пользуются в по-



литике и шоу-бизнесе. Артисту с новой программой, музыкальной группе, начинающему политику проводят гастрольный тур по небольшим поселениям. В таких местах любое мероприятие — это громкое событие, поэтому критики почти нет, и испытуемый может попрактиковаться в своем репертуаре, изменить или отредактировать свои тексты или другие элементы шоу.

Внесение изменений в нарративы коллективной памяти и в традиции сопровождается естественным отторжением нововведений. В технологиях PR существует много методик управления нововведением. На первых этапах целевой аудитории показывают, что возможно противоречие с существующим каноном. Первое знакомство должно произойти, даже если это будет преподнесено как шутка. При этом противоречие между сложившейся традицией может порицаться, а может никак не комментироваться. На втором этапе происходит разъяснение, которое объясняет, почему новое лучше или не хуже старого. На третьем этапе происходит интенсивное манипуляционное воздействие через рекламу, PR, лидеров общественного мнения — публичных людей (спортсменов, политиков и представителей творческой интеллигенции). В этот период технологи-манипуляторы раскалывают единое отношение к нововведению на две группы участников или больше. В результате наступает противостояние пропозиции и оппозиции. Представители сторон уже сами, по своей воле, бесплатно вступают в дискуссию, не только привлекая внимание к проблеме, но и втягивая в новую кампанию все больше участников. На четвертой стадии происходит фиксация результата в восприятии целевой аудитории, демонстрация положительных результатов нововведения. После этого тиражируются символы и атрибуты, возникают мемы, происходит создание маркеров и памятников в широком смысле. Такой алгоритм эффективен в продвижении не только товаров и услуг, но и идей, концептов, верований, брендов, образа жизни и других нарративов, формирующих поведенческие паттерны.

Особенностью технологий по работе с коллективной памятью становится система переосмысления опорных, ключевых событий в прошлом, по которым ориентируется и идентифицирует себя аудитория. Для внесения изменений в систему современной оценки событий интересанты — операторы символической политикой предлагают переосмотреть сложившуюся реакцию на исторические события. Наиболее рельефно можно наблюдать попытки использовать события из прошлого для создания событий в настоящем в сфере политики (Малинова, 2015). В практиках по коррекции отношения к прошлому используют изменение акцентов, смысла произошедших событий; акцентирование внимания на тех событиях, которые не попали в фокус внимания в предыдущие периоды; создание противоречивых нарративов, которые способны вернуть дискуссии, завершенные в прошлом; установку новых памятников; воскрешение забытых текстов, лозунгов, песен и т. д. Поскольку система «события — нарратив — поступок» всегда находится в каком-то историческом контексте, то изменение оценок в прошлом неизбежно влечет за собой изменение реакции в настоящем. В резуль-



тате осмысленной символической политики происходит изменение в системе принятия решений, переносятся акценты, меняется восприятие текущих событий вплоть до их переоценки.

Скорость нарастания события

Появление сигнала в системе, читаемое получателем как событие, может наступить резко и скачкообразно, когда можно сказать, что во время t_0 события не было, а в момент t_1 оно уже есть, и тогда можно говорить о скачкообразном наступлении события. Каждый раз оно может идти по разным траекториям — равномерно, экспоненциально или в каком-то другом виде (Герасимов, Тульчинский, 2018).

Для запуска системы связи между нарративом и событием критичны время наступления события и его продолжительность, регистрируемая в системе. Например, возникновение военного конфликта — событие. Но если событие протекает достаточно долгое время, то его внезапность и выпадение из мирного информационного фона становится малозаметным (Герасимов, 2020). На фоне такого затяжного шума окончание войны, как и значимое изменение *status quo ante bellum*, будет событием.

По мере усиления сопротивления человека давлению нарративов в виде явной или скрытой манипуляции эволюционировали и формы манипуляции. В этом смысле XX век стал наиболее урожайным. Системы возбуждения общественного интереса к проблемам использовались и используются в сфере культуры, в политике, науке, но самые наглядные модели можно встретить в сфере деловой активности, в возникновении и развитии маркетинговых технологий. Традиционное воздействие на покупателей в виде рекламных текстов снизилось в период Великой депрессии в США 1930-х годов. Именно это событие привело к возникновению технологий привлечения внимания к товару, услуге, персонажу или идее, основанной не на прямом информационном перформатива «купи» / «возьми», а на формировании вокруг продвигаемого системы отношений, которые создавали память о товаре, услуге, делали его узнаваемым через комплекты историй. Так возникла технология *publicity*. Использование общественного мнения, демонстрация публичного отношения к продукту у лидеров общественного мнения становятся основанием для складывания технологий *public relations*, в основании которых находятся специальные события и PR-тексты. Сами же специальные события — уже не просто составная часть комплекса *promotion*, они создаются и проводятся специально для СМИ. «Журналисты собирают не более 15 % информации. Основной же массив циркулирующей в СМИ информации — сведения, предоставленные или инициированные кем-то. Более 45 % событий, о которых сообщается в СМИ, не просто произошли, а были организованы именно для того, чтобы о них сообщилось» (Тульчинский, Герасимов, Лохина, 2019, с. 18). Создается технология информационного повода. Во второй поло-



вине XX века в системе 4P Маккартни – Котлера события (конкурс, лотерея, ярмарка, народное гуляние, выставка, презентация, дегустация, тест, показ и т. д.) были частью рекламной и PR-кампаний, создавались для коммуникации продукт – клиент. С наступлением XXI столетия специальное событие становится поводом для новостей, информационным поводом для СМИ. Без поддержки СМИ, подтверждения в сети Интернет уже сложно что-либо продать, создать бизнес. Связка «событие – нарратив», становится базовым инструментом продвижения не только в маркетинге, но и в сфере культуры, политике (Герасимов, Терещенко, 2020) и в формировании концепта реальности (Герасимов, 2017).

События и нарративы как система с отрицательной обратной связью Проблема турбулентности

В случае, когда событие формирует нарративы, которые приводят к успокаиванию событийной реакции, наблюдается эффект отрицательной обратной связи (ООС). ООС – система связи результатов работы системы с входящим сигналом, при которой выходной сигнал уменьшает значение входного. Такого рода обратная связь вырабатывается как защитный механизм привыкания, адаптации к любым, даже самым острым проблемам, возникающим в публичной коммуникации. Подобный сюжет использован в басне Эзопа «Лгун», когда мальчик кричал: «Волки!». При этом алармизация и хорроризация текстов нарративов приводит сначала к возбуждению системы (нарастающий отклик), а потом к игнорированию (затухающий отклик) новостного потенциала последующих «кошмарных» новостей. Нарративный массив способен сформировать у человека мотивацию, которая будет сильнее, чем естественные инстинкты к здоровью, сну, еде, комфорту, жизни и другим, но при постоянном давлении человек перестает реагировать соответственно тексту и даже может выдать противоположную реакцию (Герасимов, 2019).

Управление социально-культурными процессами через создание систем с обратной связью

Управление социально-культурными процессами с учетом их динамики в системах «событие – нарратив – событие» возможно в случае управления факторами возникновения и исчезновения специальных событий – скоростью наступления события, его релевантностью ситуации, уровнем информационного шума и силой воздействия события на целевую аудиторию. В истории цивилизации можно наблюдать много примеров функционирования связки события и нарратива. Самый известный случай системы с положительной обратной связью – это события, связанные с Иисусом Христом, которые были отражены во многих нарративах, которые, в свою очередь, послужили источниками для неисчислимого количества событий и поступков различного харак-



тера и различной интенсивности. В наше время примеров таких связей большое количество: событие изобретения — конструкторская документация — производство изделий, преступление — запись прецедента в сборник законов — судебный процесс, событие в армии — устав — унификация поведения бойцов.

Наиболее эффективными с точки зрения ранних предупреждений негативных событий, их моделирования и прогнозирования развития служат *системы с управляемой обратной связью*, способной на большом промежутке времени контролировать скорость и саму возможность наступления событий через наррацию. Из описанных выше систем наиболее ярким, во всех смыслах, является средневековый карнавал как система «выпуска пара» из перегретого общества. В ситуации существования в обществе социальной стратификации, закрепленной законодательно и продолжающейся веками, неизбежно нарастает потенциал для протестных выступлений «низов» против «верхов». Чтобы не спровоцировать восстание, бунт или революцию, устраивается ежегодный карнавал, массовый праздник, спортивное зрелище, во время которого разрешается выход за пределы дозволенного в рабочее, не праздничное время. Смысл раздачи «хлеба и зрелищ» состоит в том, чтобы дать возможность горожанам и гостям города сбросить накопившиеся взаимные претензии и социальную напряженность в коллективном позитивном времяпровождении. С помощью карнавала удастся избежать турбулентности информационного пространства и сохранить ламинарное течение социально-культурных процессов. С точки зрения М. М. Бахтина, карнавал — это сочетание несовместимых эмоциональных состояний (Бахтин, 1990). Например, в комедии дель арте, которая ежегодно разыгрывается на карнавале в Венеции, в едином действии существуют такие персонажи-маски, как судьба, судья, офицер, влюбленный, арлекин, смерть, слуга, священник и др. Роли каждого участника предписаны сложившимися нарративами. Любой горожанин или гость венецианского карнавала, надев соответствующую маску и костюм, обязан играть обозначенную роль. Карнавал длится две недели в феврале, и каждый раз участники становятся героями постоянных импровизаций, разыгрываемых на улицах и площадях.

Заключение

В статье проанализированы механизмы возникновения нарративного описания событийного ряда и возникновения системы последовательного порождения «событие — нарратив — событие/поступок». Также рассмотрены две системы связи нарратива и события — с положительной и отрицательной обратной связью. Первая усиливает реакцию на события, вторая, напротив, успокаивает волнение, вызываемое первичным событием. Обе системы служат триггерами социально-культурных процессов, образуют механизм порождения последующих событий. Изучена возможность с помощью воздействия на причины возникновения и прекращения специальных событий планировать социально-культурные процессы и управлять ими.



Список литературы

- Бахтин М.М. Собр. соч. : в 7 т. М., 2003. Т. 1 : Философская эстетика 1920-х годов.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
- Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Методы и технологии информационных войн. М., 2007.
- Воробьев О.Ю. Эвентология. Красноярск, 2007.
- Герасимов С.В. Разум и вера: постсекулярность и после // Философские науки. 2013. №12. С. 89–100.
- Герасимов С.В. Замыкая круг манипуляций // Философские науки. 2015. №5. С. 34–41.
- Герасимов С.В. Событие как управленческая функция генерации социальной реальности // Человек. Культура. Образование. 2017. №1. С. 68–83.
- Герасимов С.В. Конструирование социальной реальности: нарративы и перформативы // Человек. Культура. Образование. 2019. №4 (34). С. 9–23.
- Герасимов С.В. Формирование нарратива из перформатива в публичных коммуникациях // Слово.ру: балтийский акцент. 2020. Т. 11, №1. С. 34–49.
- Герасимов С.В., Терещенко П.А. Сторителлинг политических лидеров как инструмент символической политики // Дискурс. 2020. Т. 6, №3. С. 5–20.
- Герасимов С.В., Тульчинский Г.Л. События как семантическая основа конструирования реальности: перспективы перехода к динамической онтологии // Слово.ру: балтийский акцент. 2018. Т. 9, №3. С. 5–25.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 2001.
- Делёз Ж. Логика смысла ; Фуко М. *Theatrum philosophicum* / пер. с фр. Я.И. Свирского. М. ; Екатеринбург, 1998.
- Кант И. Спор факультетов / пер. с нем. Ц.Г. Арзаканяна, И.Д. Копцева, М.И. Левиной. Калининград, 2002.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Магун А.В. Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб., 2008.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М., 2015.
- Почепцов Г.Г. Пропаганда 2.0. Харьков, 2018.
- Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика : учеб. пособие. М., 1996.
- Тульчинский Г.Л. Культура как ресурс и барьер инновационного развития // Инновации. 2012. №5. С. 74–79.
- Тульчинский Г.Л. Историческая память в символической политике и информационные войны // Философские науки. 2015. №5. С. 24–33.
- Тульчинский Г.Л. Оценочно-эмоциональные факторы смыслообразования: нормативно-ценностные паттерны нарративов культуры // Человек, культура, образование. 2018. №4. С. 175–193.
- Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : учеб. пособие. 5-е изд. СПб., 2019.
- Тульчинский Г.Л. Философия поступка: самоопределение личности в современном обществе. СПб., 2020.
- Фрэйзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / пер. с англ. М.К. Рыклина. М., 2006.
- Bridgman P.W. A Physicist's Second Reaction to Mengenlehre // Scripta Mathematica. 1934. Vol. 2. P. 101–117; 224–234.
- Hoffman F.G. Hybrid warfare and challenges // Joint Force Quarterly. 2009. №52. P. 34–39.



Landauer R. The Physical Nature of Information // Physics Letters A. 1996. Vol. 217, №4-5. P. 188 – 193.

Taylor R. S. The Process of Asking Questions // American Documentation. 1962. №13. P. 391 – 396.

Об авторе

Сергей Викторович Герасимов, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия.

E-mail: votje82@mail.ru

Для цитирования:

Герасимов С. В. События и наррация в социально-культурных практиках // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 29 – 44. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-2.

EVENTS AND NARRATION IN SOCIO-CULTURAL PRACTICES

S. V. Gerasimov¹

¹ Saint Petersburg State University of Economics
21 Sadovaya street, St. Petersburg, 191023, Russia
Submitted on December 15, 2020
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-2

The article deals with the dynamic interaction of events and narratives. As a result of this interaction, stable links 'events-narratives' appear; they influence the formation and transformation of social and cultural processes in society. Event-narrative links form the basis of the system of norms and values of society. The corpus of 'event-narrative' links creates behavioural patterns, serves as a motivator for members of society, a cause and reason for actions and an initiator of terraced events that inevitably occur as a response to events in reality. The emerging connections 'event – narrative – action (special event)' represent a system with a controlled feedback. Depending on a change in the factors of the occurrence and course of events, such a system can both enhance and reduce the result and consequences of events. In these systems, an event triggers social and cultural processes and creates social reality.

Keywords: event, narrative, socio-cultural process, social reality, deed

References

Bakhtin, M. M., 1990. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaja kul'tura Srednevekov'ja i Renescansa* [Francois Rabelais' creativity and folk culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow (in Russ.).

Bakhtin, M. M., 1997 – 2012. *Sobranie sochinenij* [Collected Works]. Moscow (in Russ.).

Bridgman, P. W., 1934. A Physicist's Second Reaction to Mengenlehre. *Scripta Mathematica*, 2, pp. 101 – 117; 224 – 234.

Buharin, S. N. and Cyganov, V. V., 2007. *Metody i tehnologii informacionnyh vojn* [Methods and technologies of information warfare]. Moscow (in Russ.).

Deleuze, G., 1998. *Logika smysla* [The logic of meaning]. Translated from French by Ya. I. Svirsky. Ekaterinburg (in Russ.).



Frazer, J.G., 2006. *Zolotaya veto'. Issledovanie magii i religii* [Golden bough. Study of magic and religion]. Translated from English by M.K. Ryklina. Moscow (in Russ.).

Gerasimov S.V., 2017. Event as a managerial function of generating social reality. *Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie* [Human. Culture. Education], 1 (23), pp. 68–83 (in Russ.).

Gerasimov, S.V. and Tereshhenko, P.A., 2020. Storytelling of political leaders as an instrument of symbolic politics. *Diskurs* [Discourse], 6 (3), pp. 5–20 (in Russ.).

Gerasimov, S.V. and Tul'chinskij, G.L., 2018. Events as a Semantic Basis for the Construction of Reality: Prospects for the Transition to a Dynamic Ontology. *Slovo.ru: Baltic accent*, 9(3), pp. 5–25 (in Russ.).

Gerasimov, S.V., 2013. Closing the circle of manipulation. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences], 5, pp. 34–41 (in Russ.).

Gerasimov, S.V., 2015. Closing the circle of manipulation. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences], 5, pp. 34–41 (in Russ.).

Gerasimov, S.V., 2019. Construction of social reality: narratives and performances. *Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie* [Human. Culture. Education], 4 (34), pp. 9–23 (in Russ.).

Gerasimov, S.V., 2020. Formation of a narrative from a performative in public communications. *Slovo.ru: Baltic accent*, 11 (1), pp. 34–49 (in Russ.).

Hoffman, F.G., 2009. Hybrid warfare and challenges. *Joint Force Quarterly*, 52, pp. 34–39.

Husserl, E., 2001. *Kartezianskie razmyshleniya* [Cartesian reflections]. St. Petersburg (in Russ.).

Kant, I., 2002. *Spor fakul'tetov* [Faculty dispute]. Translated from German by T.G. Arzakanyan, I. D. Koptsev and M.I. Levina. Kaliningrad (in Russ.).

Landauer, R., 1996. The Physical Nature of Information. *Physics Letters. A*, 217 (4–5), pp. 188–193.

Lotman, M. Ju., 1970. *Struktura khudozhestvennogo teksta* [The structure of artistic text]. Moscow (in Russ.).

Magun, A.V., 2008. *Otritsatel'naya revolyutsiya: k dekonstruktsii politicheskogo sub'ekta* [Negative revolution: towards the deconstruction of the political subject]. St. Petersburg (in Russ.).

Malinova, O.Yu., 2015. *Aktual'noe proshloe: Simvolicheskaya politika vlastouyushchei elity i dilemmy rossiiskoi identichnosti* [Current Past: Symbolic Politics of the Ruling Elite and the Dilemmas of Russian Identity]. Moscow (in Russ.).

Pocheptsov, G.G., 2018. *Propaganda 2.0* [Advocacy 2.0]. Kharkov (in Russ.).

Taylor, R.S., 1962. The Process of Asking Questions. *American Documentation*, 13, pp. 391–396.

Tomashevskii, B.V., 1996. *Teoriya literatury. Poetika: ucheb. posobie* [Literature theory. Poetics: textbook]. Moscow (in Russ.).

Tul'chinskii, G.L., 2012. Culture as a resource and a barrier to innovative development. *Innovatsii* [Innovation], 5, pp. 74–79 (in Russ.).

Tul'chinskii, G.L., 2015. Historical memory in symbolic politics and information wars. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences], (5), pp. 24–33 (in Russ.).

Tul'chinskii, G.L., 2018. Evaluative and emotional factors of meaning formation: normative and value patterns of cultural narratives. *Chelovek, kul'tura, obrazovanie* [Human, culture, education], 4 (30), pp. 175–193 (in Russ.).

Tul'chinskii, G.L., 2020. *Filosofiya postupka: samoopredelenie lichnosti v sovremennom obshchestve* [Philosophy of action: self-determination of personality in modern society]. St. Petersburg (in Russ.).



Tul'chinskii, G. L., Gerasimov, S. V. and Lokhina, T. E., 2019. *Menedzhment spetsial'nykh sobytii v sfere kul'tury: ucheb. posobie* [Management of special events in the field of culture: textbook]. Vol. 5. St. Petersburg (in Russ.).

Vorob'ev, O. Ju., 2007. *Jeventologija* [Eventology]. Krasnoyarsk (in Russ.).

The author

Dr Sergey V. Gerasimov, Associate Professor, Saint Petersburg State University of Economics, Russia.

E-mail: votje82@mail.ru

To cite this article:

Gerasimov, S. V. 2021, Events and narration in socio-cultural practices, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 29–44. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-2.

ЦИФРОВОЙ СТОРИТЕЛЛИНГ И МИКРОНАРРАТИВЫ — НОВЫЕ ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОПЫТА И КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА

А. А. Лисенкова¹

¹ Пермский государственный институт культуры
614000, Россия, Пермь, ул. Газеты «Звезда», 18
Поступила в редакцию 09.12.2020 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-3

Проанализировано влияние цифровых технологий на способы повествования. Создавая новые информационные потоки персонализированных историй с открытыми сюжетными линиями в пространстве виртуальной медиасреды, автор разделяет процесс создания истории с другими участниками цифрового мира. Под влиянием гипертекстовой системы перекрестных ссылок трансформируются способы взаимодействия автора и аудитории, а каждый участник данного процесса выступает не только создателем, но и соавтором множества повествований. Сами же нарративы, транслирующие персонализированное оценочное (часто псевдоэкспертное) мнение в публичное пространство, приобретают всё большую эмоциональную окраску в ущерб содержанию. Бесконечно увеличивая информационный поток и погружая всех его участников в интерактивный мир эмоциональных коллективных метанарративов собранных из осколочных фрагментов индивидуальных историй, пользователи формируют единый цифровой контент. Маркируя свои рассказы, они соотносят их с большими тематическими кластерами однородной информации, включают свой индивидуальный опыт в единое пространство коллективного повествования. Находясь в процессе постоянного сотворчества, пользователи конструируют свой виртуальный мир, наполняя его микронарративными историями коллективного творчества, в последующем самостоятельно живущими в цифровом пространстве. Таким образом, искусственно созданная виртуальная информационная среда постоянно умножается за счет воспроизводства гипертекстуальных историй всеми участниками сторителлинга и в результате начинает воспроизводить сама себя.

Ключевые слова: сторителлинг, повествование, цифровизация, коммуникации, творчество, нарратив, мультимедиа, гипертекст, интерактивность

В последние годы в гуманитарных науках наблюдается период повышенной рефлексии, связанной с осмыслением и прогнозированием влияния цифровых технологий и виртуальных медиаресурсов на современного человека. Резкий технологический рост действительно оказал существенное влияние на трансформацию способов коммуникации, идентификации, репрезентации, выступив стимулом для появления новых форм взаимодействия человека с окружающим миром. В данном отношении развитие цифровых технологий стало стимулом развития но-



вых видов повествований, переводя их в публичную плоскость и создавая новые информационные потоки в заданных виртуальной средой контенттах.

Рассказы, легенды, мифы, истории и изображения всегда были неотъемлемой частью культуры человека начиная с наскальных рисунков и заканчивая цифровой фотографией, подкастами и лонгридами. Вместе с тем сегодня привычные для нас способы взаимоотношений автора и читателя, создателя и пользователя меняются под влиянием все более расширяющейся гипертекстуальной цифровой медиасреды.

Данные изменения прогнозировали М. Фуко, У. Эко, Ж.-Ф. Лиотар, Р. Барт, Ю. Кристева, говорившие, что диалог читателя с автором все более будет становиться игрой. В результате этой игры «читатель не сможет использовать текст так, как ему самому хочется, но лишь так, как текст хочет быть использованным», утверждает Умберто Эко (Эко, 2005, с. 254). Сегодня эта игра приобретает новые масштабы и формы в виртуальном пространстве новых медиа, где каждый пользователь в любительском творчестве воспроизводит свою собственную гипертекстуальную и гипервизуальную реальность в процессе цифрового сторителлинга.

Цифровой сторителлинг — способ повествования, опосредованный виртуальными медиатехнологиями. Он может включать в себя гипертекст, блоги и влоги, аудио- и видеоподкасты, нарративные онлайн-игры, веб-трансляции и сторис, фактически любые форматы историй, создаваемые и транслируемые в цифровой среде.

Авторы цифрового повествования выступают сегодня в роли метаавторов, производящих контент, пространство и хронологию рассказа, погружая своего зрителя / читателя в интерактивный мир удивительных высокотехнологичных историй с эффектом соприсутствия, соучастия и сотворчества. При этом каждый пользователь вносит свой вклад в конструирование сюжета, а пространство нарратива образуется уже «не вокруг фигуры автора, как было в предшествующие эпохи, а вокруг фигуры читателя-пользователя» (Еникеев, 2016, с. 867). Таким образом, именно пользователь становится новым участником и соавтором развития нарратива.

Очевидно, что современные цифровые нарративные практики все более приобретают сходные черты с ризомной структурой, пребывая в горизонтальном поле умножения авторских смыслов каждым последующим пользователем, во множестве персонализированных микроисторий. Практически любой участник цифрового сторителлинга становится актором единого воображаемого и постоянно расширяющегося интерактивного пространства. Персонализированная авторская функция в данном процессе практически растворяется в анонимном дискурсе большого количества участников с различными точками входа во все более разрастающемся нарративе. Вместе с тем благодаря самокатегоризации и маркированию цифровые микронарративы соединяются в тематические кластеры однородной информации, создающие всеобъ-



емлющее пространство новых смыслов и символов, а их авторы получают статус цифровых медиумов для больших аудиторий слушателей и пользователей цифрового мира, интегрируя свой персональный опыт в единое информационное пространство глобальной сети. В результате постоянного соединения персональных историй индивидуализация, заложенная в изначальный текст, размывается и приобретает черты коллективной публичной истории с отсутствием единого авторства, в полной мере олицетворяя идею «смерти автора» Ролана Барта (Барт, 1989). Таким образом цифровой нарратив, растиражированный различными медийными сервисами, становится достоянием «многих» и живет своей, оторванной от автора, жизнью.

Каждый пользователь виртуального цифрового мира вносит свой уникальный вклад в повествование, добавляя новые части информации, элементы и изображения в единый интерактивный текст и создавая новые социальные структуры и сообщества. Так, для обозначения возникающих новых социальных структур, позволяющих производить и распространять в рамках новых сетевых сообществ информацию в лоне единого повествования, французский философ Пьер Леви ввел обозначение «коллективный интеллект» (Lévy, 2001), выступающий аттрактором, объединяющим единомышленников вокруг единой темы. Данные сообщества создают свою историю в рамках коллективного сетевого творчества, опосредованного мультимедийными платформами в потоке цифрового сторителлинга.

Цифровой сторителлинг принципиально отличается от других привычных форм производства нарративов подходами к распространению контента и созданию сюжетных линий. В связи с тем, что информация в цифровом формате становится дробной, интерактивной и разделяется изображениями, эмодзи, коррелируя с видео- и часто звуковым рядом, она направлена не на фокусирование внимания читателя, а, наоборот, на максимальное расфокусирование за счет вовлечения различных медиаресурсов. Соединяя фрагменты цифрового нарратива на различных платформах, человек выступает как активный участник обширного «трансмедийного сторителлинга» (Дженкинс, 2019, с. 17) разворачивающегося перед ним практически бесконечное пространство миров и растиражированных коммерческих франшиз. Трансмедийный сторителлинг (transmedia storytelling) фактически представляет собой мультиавторское повествование в мультиплатформенном формате, создаваемое как гипертекстовый интерактивный, постоянно пополняемый «за счет заполнения заранее созданных в нем пространств для интерпретаций» (Jenkins, 2011, с. 46) проект. Он реализуется в виртуальном пространстве согласно маркетинговым законам создания, развития и продвижения бренда, направленного на репрезентацию каждого участника цифрового повествования.

Привлекательность цифровых рассказов заключается в личных историях и эмоционально окрашенных переживаниях. «Это не просто интеллектуальное упражнение, а часть личного, очень эмоционального переживания» (Макки, 2013, с. 16), соединенная в единое пространство



коллективного метанарратива. При этом каждый участник может играть свою роль в цифровом спектакле, иногда реализуя различные аспекты из своей повседневной жизни либо выстраивая вымышленные сюжеты.

Нужно отметить, что нарратив является общей чертой многих повествований, структурно варьируясь в зависимости от заданной цели и аудитории и определяя каркас всего рассказа. В то же время в рамках цифрового повествования необходимо выстраивать интерактивную повествовательную структуру с вариативностью сюжетных линий превращая тем самым даже самые скучные темы в увлекательную историю и вовлекая все больше пользователей в созданный мир.

В поисках расширяющихся сюжетных линий пользователи словно «становятся охотниками и собирателями, перемещаясь назад через различные нарративы, пытаясь сшить воедино связную картину из рассеянной в различных медиа информации» (Jenkins, 2007). Этот процесс приобретает лавинообразный характер и все более умножает гипертекстовое интерактивное пространство.

Виртуальная гипертекстовая среда постоянно пополняется новыми историями и новыми смыслами, этот феномен интерактивного пополнения и умножения нарративов Ч. Дженкинс определил как культуру цифрового соучастия (participatory culture). Он акцентирует внимание на социальных аспектах новых цифровых медиатехнологий, способных оказывать влияние на аудиторию, программируя ее, рассказывая и визуализируя различные истории, вовлекая в их создание все большее число пользователей и расширяя масштаб и спектр медиаплатформ.

Анализируя методы повествования, создания и распространения цифровых нарративов, можно сделать вывод о том, что современный цифровой сторителлинг основывается на кинематографических приемах и техниках повествования. Вместе с тем интерактивность и гипертекстуальность виртуального пространства привнесли особенные черты в процесс изложения, сделав его максимально фрагментированным и модульным, в отличие от линейного повествования кинематографа. Цифровые истории могут развиваться с любого момента в связи с тем, что точка входа каждого из участников не может быть определена заранее. Многие истории цикличны, перенимая сериальные механизмы создания сюжетов, а темы заимствуются в популярной литературе и кинематографе, вторя голливудским сюжетам и героям.

Поиск участников (соавторов) повествования для каждой цифровой истории является уникальной авторской стратегией, направленной на развитие и продвижение темы. Особой чертой таких сюжетных линий становится создание специальных триггеров, расстановка смысловых акцентов и развилок в сюжетных хитросплетениях для максимально широкого вовлечения различных групп участников в пространство повествования.

Концептуальное наполнение сторителлинга направлено также на максимально открытые сюжетные линии с возможностью расширять и дополнять каждый элемент и фрагмент повествования, детализируя его и достраивая собственные нарративы. Основной принцип построе-



ния таких фрагментов заключен в максимальной визуализации сюжетных развилок с целью стимулировать других пользователей заполнять вокруг заданной темы смысловые лакуны, «которые специально программируются в проект для того, чтобы эти места занимали пользователи, чтобы они начинали развивать контент самостоятельно, чтобы они начинали производить то, что, может, инициатор проекта и не имел в виду» (Сумская, 2016, с. 119). Сочетая мультимедийные элементы, такие как видео, изображения, анимация и GIF-файлы, интерактивный контент, каждый участник повествования может рассказывать более захватывающие истории и нелинейно развивать любые темы. Таким образом, история, чтобы состояться, должна быть рассказана коллективно и не только рассказана, но и структурирована, содержать множество возможностей для интерактивного взаимодействия с ее участниками.

Однако невозможно создать некий универсальный текст или медийный продукт для всеобщего потребления. Любой продукт, который будет обсуждаться, которым будут восхищаться или который будут критиковать, должен быть изначально устроен таким образом, чтобы в его концепцию уже были вписаны другие активные участники, а аудитория была спрогнозирована и определена изначально.

Сторителлинг позволяет «очеловечить» сложный современный цифровой мир, наполнить его живыми эмоциональными историями микронарративов в противоположность большим нарративам, переживающим, как утверждает Лиотар, кризис своего существования. Он фактически возвращает человека в дописьменную эпоху, создавая иллюзию близости, безопасности, акцентируя синкретизм восприятия и апеллируя к эмоциональному восприятию иррациональности реакций.

Таким образом, перед нами разворачивается противоречивая картина создания и освоения интерактивного цифрового пространства, где в лавинообразном потоке информации человек оказывается адресатом и одновременно автором множества сообщений. В бесконечном выборе нового, прочтении фрагментов, создании микротекстов он оказывается открыт перед всеми участниками виртуального пространства.

В потоке постоянно умножаемого цифрового контента появляются множественные, дополняющие друг друга, где-то пересекающиеся или нет, структуры информации, взаимодействующие на разных уровнях. В результате они создают мозаику, в которой гипертекст оказывается адекватным эластичным элементом, позволяющим всем участникам самоопределиться в обстоятельствах постоянных трансформаций и умножений информационных потоков. В границах сторителлинга каждый может обрести и транслировать свое повествование, интерпретируя события и нарративы в соответствии со своими представлениями об окружающем мире. В рамках цифровых повествований вырабатываются новые формы визуализации, а «взаимодействие с объектами виртуального пространства диктуют умения и законы восприятия особого визуального языка, который обладает своими особенностями, являясь многомерным по своей сути» (Мошкина, 2014, с. 113). В итоге



каждый участник сторителлинга выступает пользователем, читателем и автором одновременно, презентуя себя виртуальному миру в серии емких красочных образов.

Производство контента позволяет не просто участвовать в создании собственной виртуальной реальности, но проявлять себя и идентифицировать себя перед самим собой и в рамках некоего виртуального сообщества. Символическая, постоянно расширяющаяся, искусственно созданная виртуальная социальная реальность, которая рождается в процессе производства и воспроизводства гипертекста каждым из участников сторителлинга, по мере развития самого автора трансформируется и воспроизводит саму себя.

Современный человек, таким образом, самостоятельно конструирует свой собственный виртуальный мир с удобным, понятным и привлекательным наполнением. Являясь производителем и потребителем близкого для себя контента, пользователь сети фактически закрывает себя в информационном, коммуникационном и культурном ценностно приемлемом коконе. Опираясь содержанием и средствами создания и распространения гипертекста, он совершает коммуникативный акт, способствуя «образованию в виртуальной реальности некоего общего смысла — ценностно-когнитивного мира личности, пребывающей в этой реальности» (Орехов, 2002, с. 98).

Цифровой сторителлинг превращает жизнь пользователей в постоянное сотрудничество, позволяя соединить в одном повествовании креативность, экспертность, публичность, эмоциональность и интерактивность. Развитие цифровых историй требует от авторов постоянного самосовершенствования и поиска новых подходов и решений для удержания своей аудитории и активного ее включения в создание контента. Эти тенденции становятся катализатором, вызывающим изменения и переход любительства в полупрофессиональное творчество. Интерактивные повествования стимулируют активность всех участников, вовлекают в дискуссию, сотворчество, стимулируют самовыражение и заставляют проявить себя.

Таким образом, производство цифровых историй в сетевой коллективной креативности становится все более востребованным форматом коммуникации и репрезентации персонального опыта, реализующим креативные потребности всех участников. Оно позволяет получить признание и аккумулировать культурный капитал, фактически формируя пространство для реализации свободы творчества.

Список литературы

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / пер. с фр. ; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 1989.

Дженкинс Г. Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа / пер. с англ. А. В. Гасилина. М., 2019.

Еникеев А. А. Проблема чтения и письма в контексте поэтики и прагматики философского текста // Научный журнал КубГАУ. 2016. №122. С. 867–887.

Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / пер. с англ. М., 2013.

Мошкина О. В. Интернет как тренинг интерактивности // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. №14-2. С. 111–114.



- Орехов С. И. Поиск виртуальной реальности : монография. Омск, 2002.
- Сумская А. С. Transmedia storytelling в маркетинговых PR коммуникациях // Вестник Челябинского университета. 2016. №13. С. 117 – 124.
- Эко У. Роль читателя: исследования по семиотике текста. СПб. ; М., 2005.
- Jenkins H. Transmedia Storytelling 101 [2007]. URL: http://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (дата обращения: 09.12.2020).
- Jenkins H. Transmedia storytelling and entertainment. An annotating syllabus // Continuum. Journal of Media & Cultural Studies. 2011. Vol. 24, №6. P. 43 – 58.
- Lévy P. Cyberculture. Minneapolis, 2001.

Об авторе

Анастасия Алексеевна Лисенкова, кандидат культурологии, доцент, Пермский государственный институт культуры, Россия.
E-mail: oskar46@mail.ru

Для цитирования:

Лисенкова А. А. Цифровой сторителлинг и микронарративы – новые формы репрезентации персонального опыта и коллективного творчества // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 45 – 52. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-3.

DIGITAL STORYTELLING AND MICRO-NARRATIVES – NEW FORMS OF REPRESENTATION OF PERSONAL EXPERIENCE AND COLLECTIVE CREATIVITY

A. A. Lisenkova¹

¹ Perm State Institute of Culture
18, ul. Gazeta «Zvezda», Perm, 18614000,
Submitted on December 09, 2020
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-3

The article analyses the impact of digital technologies on storytelling. By creating new information streams of personalised stories with open storylines in the virtual media environment, the author shares the process of writing a story with other participants in the digital world. The interaction between the author and the audience is transformed under the influence of the hypertext system of cross-references. Each participant in this creative process acts not only as a co-creator, but also as a co-author of many narratives. The narratives, which translate personalized evaluative and often pseudo-expert opinions into the public space, are becoming increasingly emotional to the detriment of the content. Constantly increasing the information flow and immersing its participants in the interactive world of emotional collective meta-narratives composed of fragments of individual stories, the users build a single digital content. By labelling their stories, they relate them to large thematic clusters of homogeneous information, including their individual experiences in a single space of collective storytelling. Participating in the process of constant co-creation, users construct their own virtual world, filling it with micro-narrative stories of collective creativity, subsequently living independently in the digital space. The artificially created virtual information environment is constantly multiplying due to the reproduction of hypertextual stories by all participants of storytelling and, as a result, it begins to reproduce itself.

Keywords: storytelling, narrative, digitalization, communication, creativity, narrative, multimedia, hypertext, interactivity



References

- Barthes, R., 1989. *Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika* [Selected works: Semiotics: Poetics]. Translated from French by G. K. Kosikov. Moscow (in Russ.).
- Eco, U., 2005. *Rol' chitatel'ya: issledovaniya po semiotike teksta* [The role of the reader: studies in the semiotics of the text]. St. Petersburg (in Russ.).
- Enikeev, A. A., 2016. The problem of reading and writing in the context of poetics and pragmatics of the philosophical text. *Nauchnyi zhurnal KubGAU* [Scientific Journal of KubGAU], 122, pp. 867–887 (in Russ.).
- Jenkins, G., 2019. *Konvergentnaya kul'tura. Stolknovenie starykh i novykh media* [Convergent culture. The clash of old and new media]. Translated from English by A. V. Gasilina. Moscow (in Russ.).
- Jenkins, H., 2007. *Transmedia Storytelling 101*. Available at: http://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html [Accessed 9 December 2020].
- Jenkins, H., 2011. Transmedia storytelling and entertainment. An annotating syllabus. *Continuum. Journal of Media & Cultural Studies*, 24 (6), pp. 43–58.
- Lévy, P., 2001, *Cyberculture*. Minneapolis.
- McKee, R., 2013. *Istoriya na million dollarov: Master-klass dlya stsenaristov, pisatelei i ne tol'ko* [A Million Dollar Story: A Masterclass for Screenwriters, Writers and More]. Moscow (in Russ.).
- Moshkina, O. B., 2014. Internet as an interactivity training. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Buryat State University], 14 (2), pp. 111–114 (in Russ.).
- Orehov, S. I., 2002. *Poisk virtual'noi real'nosti: monografiya* [Search for virtual reality: monograph]. Omsk (in Russ.).
- Sumskaya, A. S., 2016. Transmedia storytelling in marketing PR communications. *Vestnik Chelyabinskogo universiteta* [Bulletin of the Chelyabinsk state University], 13 (395), pp. 117–124 (in Russ.).

The author

Dr Anastasia A. Lisenkova, Associate Professor, Perm State Institute of Culture, Russia.

E-mail: oskar46@mail.ru

To cite this article:

Lisenkova, A. A. 2021, Digital storytelling and micro-narratives – new forms of representation of personal experience and collective creativity, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 45–52. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-3.

САМОЗВАНСТВО КАК ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНЦИИ: СЕМИОТИКА ИМЕНИ В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ»

С. Т. Золян¹

¹ Институт философии, социологии и права НАН Армении
Армения, 375010, Ереван, ул. Арами, 44
Поступила в редакцию 05.10.2020 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4

Что в имени тебе моем?
А. С. Пушкин

Автор продолжает рассматривать механизмы представления себя как другого и другого – как себя. В данной связи описываются нетривиальные особенности семантики имени собственного. На материале анализа контекстов ненадлежащего употребления имени в ситуации самозванства, описанных в трагедии Пушкина «Борис Годунов», анализируются семиотические механизмы преобразования и присвоения идентичности. Показано, что интуиция Пушкина позволила ему увидеть те проблемы, которые возникли в аналитической философии имени второй половины XX века. Пушкин последовательно создает контексты, в которых проверяются условия приемлемости или неприемлемости отклоняющихся употреблений. Эти особенности, с одной стороны, позволяют предложить дополнительное, логико-семантическое измерение для интерпретации «Бориса Годунова», а с другой – существенно уточняют имеющиеся теории имени собственного, показывая их возможные нетривиальные, а в некоторых случаях проблематичные следствия. В то же время логико-семантический анализ позволяет выявить механизмы самозванства и коммуникативные условия для его успешности.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, «Борис Годунов», имя собственное, самозванство, семантика возможных миров

1. «Я» как «другой», «другой» как «я»: семиотика преобразования

Каким образом посредством речевых актов происходит преобразование «себя» в «другого»? Ранее, рассматривая интерпретации «я» поэтического текста в свете идеи Эмиля Бенвениста (1974) и Поля Рикёра (Ricoeur, 1976) о присвоении языка и текста посредством местоимения «Я», мы продемонстрировали, каким образом говорящий, произносящий чужое высказывание от своего имени, становится метафорой *первосказавшего*. (Золян 1988а; б). Подобно тому как посредством местоимения «я» я-говорящий присваивает язык (по Бенвенисту), может быть присвоен также и текст, говорящий обо мне и повествующий, кем бы я был в поэтическом мире текста. Присваивая высказывание, говорящий присваивает и судьбу. Разумеется, это не биографическая судьба, а



«лингвопоэтическая», конструируемая языковыми средствами и прожитая в поэтическом мире текста. Повторяя от первого лица высказывание, уже сказанное до меня, я-читатель совершает межмировое путешествие, перемещаясь из «своего» актуального мира в мир, где занимает место говорящего — будь то реальный поэт, лирический герой или же персонаж. Согласно Полю Рикёру, в первую очередь присвоению подлежит значение самого текста. Значение текста есть некая сила, благодаря которой открывается мир, создаваемый референцией текста. Присвоение в этом смысле — это, по П. Рикёру, не род владения, а только новая самопроекция себя в мир, расширение горизонта бытия и новый способ существования в мире. Возможно, эту семантическую операцию имел в виду Пушкин, описывая «присвоение» Татьяной «чужого» ментального состояния:

Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя...

(«Евгений Онегин», 3, X)

Пушкин описывает ход подобного преобразования: в чужом тексте Татьяна *ищет и находит свой тайный жар, свои мечты и, присвоя чужой восторг, чужую грусть*, то ли создает, то ли воспроизводит (*шепчет наизусть*) собственный текст. Рассогласованность и онтологическое различие этих миров — непреодолимая граница между миром, где происходит речевой акт (это актуальный мир читателя), и миром, который присваивается (мир автора-первосказавшего). Что происходит, когда эта граница преодолевается или исчезает? У Пушкина мы находим многочисленные примеры подобных межмировых перемещений. С одной стороны, это своего рода «словесная магия», как назвал подобный прием применительно к «Дон-Кихоту» Борхес: взаимопроницаемость миров возможна благодаря тому, что некоторый текст, созданный в художественном мире (письмо Татьяны, стихи Ленского), продолжает существовать в актуальном мире, а индивиды, существующие в актуальном мире (реальный автор — Пушкин, его друзья Вяземский, Якушкин и др.), перемещаются в поэтический мир «Евгения Онегина» (ср.: «к ней <Татьяне> как-то Вяземский подсел» и т.п. случаи). Эту схему Пушкин прилагает к самому себе — так, в черновом отрывке, а, по сути, сжатой новелле, «Когда б я был царь» поэт Пушкин становится персонажем, а Пушкин — автор отрывка — Александром, который ссылает поэта-Пушкина в Сибирь, где тот напишет «сибирские» поэмы. В приведенной выше цитате также происходит пересечение онтологических областей: «присвоив» чужие страсти, Татьяна пишет письмо уже в «своем» мире, мире романа «Евгений Онегин», а это письмо уже потом попадает к реальному Пушкину («письмо Татьяны предо мною»). Однако



это семиотические операции, они не предполагают изменения физической реальности. Татьяна Ларина не перестает быть Татьяной Лариной, пусть и «присвоив» чужие чувства и слова: *Воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов, / Кларисой, Юлией, Дельфиной, / Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит* («Евгений Онегин», 3, X). Между тем магическая функция языка, в отличие от поэтической, ориентирована не на создание семиотических воображаемых миров, а на преобразование актуального.

В этой связи рассмотрим несколько иной аспект того, что можно назвать модальной поэтикой Пушкина: вопрос присвоения имени и права говорить от имени того, чье имя присваивается. Что происходит, когда это *присвоение* чужой идентичности посредством присвоения имени происходит не в воображаемом, а в актуальном мире? Присвоение имени влечет присвоение чужой судьбы и отказ от собственной. (Это позволит отличить рассмотренные случаи от таких «фейковых» присвоений имени, как псевдоним, шпионаж, уголовщина и прочие средства выдать себя за другого, но не стать другим, хотя, конечно, возможны, и промежуточные случаи). Таким образом, за чужим именем должна стоять *судьба говорящего*, то есть некоторое единство нарративных и перформативных характеристик и функций. Подобными случаями присвоения судьбы явятся, с одной стороны, безумие, а с другой — самозванство. Как пример первого, приведем новеллу Гофмана об отшельнике Серапионе: «Ум его был вполне проникнут мыслью, что он пустынный Серапион, удалившийся при императоре Деции в Фиваидскую пустыню и затем принявший мученическую смерть в Александрии» (Гофман, 1994, с. 55). Поскольку он все же жив, то на вопрос «Вы утверждаете, что вы тот самый Серапион, который погиб столь ужасным образом несколько веков тому назад?» граф отвечает:

— Вы можете... находить это невероятным, и я сам подтверждаю, что для того, кто не привык видеть далее своего носа, подобная вещь звучит странным образом, но между тем это именно так! Всемогущий Бог дозволил мне счастливо перенести мое мученичество, и его Святой Промысел судил мне еще долго и тихо жить в этой Фиваидской пустыне. Сильная головная боль и судороги в членах, случающиеся со мной иногда, остались во мне единственным воспоминанием претерпленных мук (Там же, с. 57).

Как видим, граф, взяв имя и биографию давно уже не существующего отшельника, «возрождает» его для новой жизни, сохранив тем не менее из прежней *боль и судороги*. Однако поскольку окружающие не считают присвоившего имя Серапиона воскресшим мучеником, то воспринимают его как безумца. Если «новый мир» и выстраивается вокруг имени «Серапион», то только в воображении графа: южнонемецкий лесок превращается в Фиваидскую пустыню, но только для него. Некоторое подобие подобного преобразования можно увидеть в безумии Павла из «Уединенного домика на Васильевском»¹. Другой формой

¹ «Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью» (Пушкин, 1979, с. 372).



преодоления границы между актуальным и воображаемым оказывается самозванство. Обращение Пушкина к Пугачеву, а до этого — к Лжедмитрию, свидетельствует об интересе поэта к этому явлению. Безусловно, самозванство предполагает определенный набор идеологических политических условий, и Пушкин достаточно полно воспроизводит их². Однако мы рассмотрим исключительно семантические и прагматические характеристики, связанные с особым типом употребления имени собственного. Пушкин в поэтической форме ставит проблемы, которые стали одними из важнейших для аналитической философии XX века (см. концепции имени собственного в работах Б. Рассела, С. Крипке, Я. Хинтикки, Д. Льюиса и др.). Но прежде всего обратимся к одному редко упоминаемому замечанию Витгенштейна — его не совсем понятному разграничению между *носителем* имени и его *значением*:

Обсудим прежде всего такой момент данного аргумента: слово не имеет значения, если ему ничего не соответствует. Важно отметить, что слово «значение» употребляется в противоречии с нормами языка, если им обозначают вещь, «соответствующую» данному слову. То есть значение имени смешивают с носителем имени. Когда умирает господин N, то говорят, что умирает носитель данного имени, но не его значение. Ведь говорить так было бы бессмысленно, ибо, утратив имя свое значение, не имело бы смысла говорить «господин N умер» (Витгенштейн, 2003, с. 248).

Пример самозванства неожиданным образом позволяет понять как мысль Витгенштейна, так и семантическую природу самозванства. Так, носитель имени, царевич Дмитрий, был убит, но значение имени убить невозможно: такая операция невыполнима ввиду ее противоречивости, или бессмысленности. Другое дело, что значение для своей актуализации требует носителя, и таковым оказывается не только означающее,

² Ср.: «Политический самозванец — человек, присваивающий имя или также статус лица, имеющего возможность осуществлять верховную власть. Эта практика играет особую роль в режимах абсолютистской монархии, отчасти — других деспотических режимах, позволяя консолидировать, мобилизовать и направить конкретные политические и социальные силы, группы и ресурсы. Политическое самозванство предполагает два условия, обеспечивающие мобилизационный потенциал: во-первых, кризис легитимности (недоверие к действующей власти, утрата личного авторитета властителя, нарушение традиционных правил, норм, снижение эффективности, неспособность справиться с вызовами) и, во-вторых, личностные качества и мотивацию самозванца. Обычно оно порождается «смутой» в обществе, вызванной кризисом легитимности власти, протестом против существующего (несправедливого в глазах протестующих) порядка, защитой традиций, подкрепляемых выдвижением стремящихся к самореализации амбициозных лидеров. Типичным примером такой ситуации является обрыв правящей монархической династии» (Тульчинский, 2020а, с. 628). Анализу идеологических и политических аспектов самозванства в России, в особенности событиям Смутного времени, посвящены многочисленные исследования (Чистов, 1966; Скрынников, 1990; Успенский, 1994; Тульчинский, 1996; Арканникова, 2009). См. также ряд статей в сборнике (Самозванцы... 2010). В затрагиваемом нами аспекте это явление рассматривается только в: (Смирнов, 2004).



но и референт. Имя «Дмитрий» выступает как «знаконоситель», в буквальном смысле *Sign vehicle*, как в классической схеме семиозиса Чарльза Морриса. Тем самым *Sign vehicle*, то есть знаконосителем, означающим, может быть не только последовательность звуков или букв, но и индивид, ставший означающим для значения имени³.

Пушкин интуитивно идентифицировал те проблемы, которые будут сформулированы в аналитической философии имени во второй половине XX века: в пользу такого предположения говорит то, что он последовательно создает контексты, в которых как бы проверяется приемлемость или неприемлемость недолжного («еретического») употребления имени собственного: при каких условиях персонажи отказываются от канонического именованья и прибегают к «еретическому». Заметим, что это относится только к имени «Дмитрий» и сложившейся вокруг него ситуации — во всех остальных случаях имеется «каноническое» употребление имени. Рассмотрение этих условий существенно дополняет существующие теории имени, хотя следует иметь в виду то, что самозванство есть отклоняющийся случай, но который, как и другие отклоняющиеся случаи⁴, должен быть адекватно учтен в общей теории.

2. Имя собственное: жесткий или нежесткий десигнатор?

Имя собственное выделяет индивида и позволяет проследить его во всех мирах. Согласно этой концепции, имя героя *Григорий Отрепьев* есть жесткий десигнатор (Kripke, 1980), что позволяет идентифицировать его носителя во всех ситуациях — реальных и воображаемых. Безотносительно к тому, как он называет себя и как его называют другие, меняются ли его признаки и окружающие обстоятельства, живой или мертвый, он есть Григорий Отрепьев и никто иной. Все остальные именованья будут не именами, а наименованиями признаков этого индивида или приписываемых ему характеристик: беглый монах, самозванец, Лжедмитрий, Дмитрий, царевич и даже «бродяга безымянный»,

³ Заметим, что у Витгенштейна не *vehicle*, а *der Träger des Namens* (в английском переводе — *a bearer of the name*), что естественно, поскольку в данном контексте речь идет о человеке, а не о знаке: «Dies heißt, die Bedeutung eines Namens wechseln mit dem Träger des Namens. Wenn Herr N. N. stirbt, so sagt man, es sterbe der Träger des Namens, nicht, es sterbe die Bedeutung des Namens» (Wittgenstein, 2009, p. 24).

⁴ Упомянем о существовавшей в архаичном и средневековом обществе многоименности, актуальной и во времена Годунова, у которого было два имени: одно в миру (Борис) и другое в монашестве (Боголеп). Эта традиция еще в эпоху Карамзина, стало быть, и Пушкина, «хотя и сделалась уже явлением скорее периферийным, но еще оставалась в русской повседневной жизни чем-то понятным, привычным и естественным, своего рода знакомой приметой уходящей эпохи» (Литвина, Успенский, 2020б, с. 201); см. также: (Литвина, Успенский, 2020а). Многоименность регулировалась переходами от одного мира к другому, например при пострижении в монахи и т. п.; каждое имя соответствовало особому статусу его носителя (см.: Успенский, 1996). Однако у Пушкина это явление никак не отражено, поэтому и нет смысла вовлекать его в рассмотрение.



«неведомый бродяга». С другой стороны, имя «Дмитрий» может относиться только и только к убиенному царевичу Дмитрию и не может выделять кого-либо иного: даже если кто-либо назовет себя (или же его назовут) Дмитрием, то это будет образец неправильного («фейкового») употребления имени, вследствие чего таких индивидов следует называть Лжедмитриями.

Но в контрфактуальном мире имя «Дмитрий» выделяет индивида с уже иными признаками. Если бы царевич Дмитрий не был бы убит, то Дмитрий был бы царем:

...он был бы твой ровесник
И царствовал; но Бог судил иное (с. 23)⁵

Коррелятивны ли эти имена применительно к ситуациям в актуальном и контрфактуальных мирах? Ответить утвердительно весьма трудно. Именно это дало основание Д. Льюису утверждать, что в различных мирах мы имеем дело не с одним и тем же индивидом, а с его двойниками (Lewis, 1968; 1973). Даже если в контрфактуальном мире воцарился бы Дмитрий, то он не мог быть тем же Дмитрием, который был убит в актуальном Угличе, это был бы его избежавший смерти и уже только поэтому отличный от настоящего Дмитрия *двойник*, или его нереализованная возможность. В трагедии показано, как именно это теоретическое положение может быть актуализовано: посредством преобразования контрфактуального мира в актуальный и наоборот. В актуальном мире появляется двойник убитого Дмитрия, тем самым этот мир приобретает характеристики контрфактуального, совпадая с тем воображаемым миром, в котором царевичу удалось спастись. И напротив, тот актуальный мир, в котором царевич убит, преобразуется в контрфактуальный, придуманным Годуновым для захвата власти. В рамках двойниковой семантики возникает ситуация, когда в одном мире царевич убит, а в другом некто, на него очень похожий, но не он, продолжает действовать от его имени. Один из них актуальный, другой — контрфактуальный, и они меняются эти статусами. Но поскольку персонажи трагедии как в Московской Руси, как и в Речи Посполитой оперируют отличными от теории Дэвида Льюиса семантическими постулатами, то возникает дилемма: носителем имени Дмитрий может быть только Дмитрий, а не кто-либо иной, что приводит к необходимости действовать в рамках бинарной семантики: либо данный индивид Дмитрий, либо не-Дмитрий, исключая контрфактуальных двойников, близнецов и прочих *возможных* индивидов.

Противоречивость ситуации осознавалась Пушкиным. Результат его размышлений отразился в трагедии. На всем протяжении произведения, включая не вошедший в окончательную редакцию Пролог и заключая финальной сценой народного безмолвия, Пушкин заставляет своих персонажей размышлять об этой проблематике и предлагать

⁵ Здесь и далее цитаты из «Бориса Годунова» даются по изданию (Пушкин, 1948) с указанием номера страницы в скобках.



различные решения вопроса: что есть имя «Дмитрий» и что есть референт имени «Дмитрий», а также варианты этого вопроса: является ли Дмитрий референтом имени «Дмитрий», может ли не-Дмитрий быть референтом имени «Дмитрий». Невозможность однозначного ответа образует латентный сюжет этой дискуссии. Политическая позиция персонажей совпадает с определенной семантической позицией: считать ли Дмитрием того, кто называет себя «Дмитрий» (позиция Отрепьева); считать ли имя «Дмитрий» лишенным референции в актуальном мире (Годунов); считать или не считать имя «Дмитрий» жестким десигнатором, выделяющим одного и того же индивида во всех мирах (народ), или исходить из сугубо прагматического критерия — немотивированности какого-либо семантического отношения между именем и референтом (московская и польская знать). Обратимся к точкам зрения антагонистов и их аргументации.

3. Имя как тень и имя тени

Бесовский сын, расстрига окаянный,
Прослыть умел Димитрием в народе (с. 69).

Патриарх формулирует политический успех Лжедмитрия так: он сумел *прослыть Дмитрием*. Но он не столько присвоил имя «Дмитрий», сколько стал замещающим его «двойником» или даже знаком, означающим. Примечательно, что своего врага Годунов видит не в индивидуе, референте имени (*расстриге окаянном*), а в *пустом имени*, то есть в лишенном референции означающем, *звук*:

Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства (с. 49).

Произвольность знака применительно к данному случаю получает в устах патриарха следующую формулировку:

Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился (с. 69).

Победить Лжедмитрия можно путем семиотической операции: поскольку он сам есть порождение операции присвоения означающего, то обратная операция должна его уничтожить, «обнажить».

Но стоит лишь ее [ризу] раздрать — и сам
Он наготой своею посрамится (с. 70).

Однако существование имени предполагает возможность существования референта (подобно фиктивному существованию лысого короля Франции в ставшем классическим примере Б. Рассела). Знающий, что произошло в действительности, Шуйский дает точную формулировку — Димитрий не воскреснет, но может воскреснуть его имя:



Так если сей неведомый бродяга
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя (с. 46).

Соответственно, имя Дмитрий приложимо не столько к Самозванцу-Григорию Отрепьеву, сколько к двойнику Дмитрия, или, как говорится в трагедии, к его *тени* (напомним об архаичном отождествлении «тени», «двойника», «отражения», «alter ego»). Григорий Отрепьев перестает существовать, чтобы контрфактуальный двойник — тень Дмитрия — мог воплотиться в актуальном мире. Убитый Дмитрий наделен некоторым существованием и в актуальном мире — как тень. «Облачившийся именем» Самозванец лишь сопровождает тень Дмитрия на престол:

Беда тебе, Борис лукавый!
Царевич тению кровавой
Войдет со мной в твой светлый дом (с. 270).

Примечательно, что Отрепьев как бы проникает в сны Бориса: кровавая тень царевича, которая войдет вместе с Григорием (именно *вместе*, а не *вместо*), является во снах Борису, причем последний осмысляет это как предвестие актуальной манифестации Дмитрия:

Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Все снилось убитое дитя!
Да, да — вот что! теперь я понимаю (с. 49).

Убиенный царевич присутствует в мире — он говорит со страждущими и исцеляет их.

А снилися мне только звуки. Раз,
В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: — Встань, дедушка, поди
Ты в Углич-град, в собор Преображенья;
Там помолись ты над моей могилкой,
Бог милостив — и я тебя прощу.
— Но кто же ты? — спросил я детский голос.
— Царевич я Димитрий. Царь небесный
Приял меня в лик ангелов своих,
И я теперь великий чудотворец! (с. 70).

В обоих случаях он является во сне. — то есть продолжает существовать в актуальном мире как некое нематериальное явление, *тень*. Наконец, и сам Григорий Отрепьев начинает осознавать себя как порождение тени: носитель имени “Дмитрий”, то есть означающее Дмитрия, сам обречен стать знаком тени и сыном тени:

Димитрий (*гордо*)
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —
Царевич я (с. 64).



Именно этот монолог — единственный, где в ремарке говорящего Пушкин называет Димитрием (в других случаях он назван Отрепьевым, Самозванцем или Лжедмитрием). Монолог особо выделен и тем, что это единственное вкрапление рифмованного стиха в написанную белым стихом трагедию.

Самозванство оказывается еще одним модусом существования «тени» в актуальном мире наряду существованием во сне. Поэтому к политическим условиям, перечисленным Г.Л. Тульчинским, надо добавить еще и такое: индивид, чье имя присваивается, должен существовать в актуальном мире в некотором особом статусе и после смерти (как чудом спасшийся, герой-мученик, легенда, тень, мифический персонаж). Если же продолжить аналогию с мыслью Витгенштейна, то после смерти носителя имени должно остаться его значение, («тень», «призрак»), которое может быть репрезентировано в новых «носителях» (сновидениях, воспоминаниях, в том числе рожденных от *тени* самозванцев).

4. Воскрешение имени как акт самоназывания

Существования в виде тени еще недостаточно для воскрешения имени «Дмитрий», возможность чего предвидел Шуйский. В трагедии описаны условия подобного «воскрешения», наделения *тени* реальным существованием. Нужны перформативный акт самоназывания и определенная ситуация в мире, в которой оказывается возможным альтернативное состояние дел. Некоторая мыслимая альтернатива претендует утвердить себя в качестве реальности.

«Борис Годунов» начинается с обсуждения сложившейся на тот момент ситуации. Мир, в котором был убит царевич, а Борис не соглашается стать царем, признается противоречащим то ли политической логике, то ли здравому смыслу. Тогда же и в первый раз, и именно Шуйским, произносится имя «Димитрий»:

Воротынский

Что ежели правитель в самом деле
Державными заботами наскучил
И на престол безвластный не взойдет?
Что скажешь ты?

Шуйский

Скажу, что понапрасну
Лилась кровь царевича-младенца;
Что если так, Димитрий мог бы жить (с. 6).

Согласно логике Шуйского, в мире, в котором был убит царевич, царем должен стать Борис. И наоборот, если Борис *не взойдет на трон, Димитрий мог бы жить*. Василий Шуйский здесь, как и в других эпизодах, выступает как носитель особой — политической — логики. Мир, в котором Димитрий был бы жив, дан как контрфактуальный. В мире,



где Борис — царь, не может существовать Дмитрий. Если Дмитрий убит, то Борису быть царем. Так описывается ситуация в разговоре бояр. Но при этом допускается возможность такого мира, в котором мог бы жить царевич, — это тот мир, где Борис не царь. Признанное московской знатью «воскрешение» Дмитрия происходит уже после смерти Бориса.

Обратная трансформация той же схемы представлена в представлении «низов». В сцене у Чудова монастыря (не вошедшей в окончательный текст, возможно, ввиду ее прямолинейной декларативности) дается иная альтернатива. Речь идет не о воцарении Бориса, а о его низвержении: к этому приведет воскрешение Дмитрия.

Григорий

Хоть бы хан опять нагрянул! хоть Литва бы поднялась!
Так и быть! пошел бы с ними переведаться мечом.
Что, когда бы наш царевич из могилы вдруг воскрес
И вскричал: «А где вы, дети, слуги верные мои?
Вы подите на Бориса, на злодея моего,
Изловите супостата, приведите мне его!..»

Чернец

Полно! не болтай пустого: мертвых нам не воскресить!
Нет, царевичу иное, видно, было суждено —
Но послушай: если дело затевать так затевать... (с. 263—264).

Контрфактуальная ситуация вначале дана как сказочная альтернатива, описанная с использованием соответствующей лексики и ритмики. В конце этого же диалога эта альтернатива оказывается реализованной посредством перформативного акта самоназывания (само-звания):

Григорий

Решено!

Я — Димитрий, я — царевич (с. 264).

Димитрий — тот, кто говорит «Я — Димитрий». Акт самоназывания оказывается аналогом воскрешения. Однако этого недостаточно. Подобное название должно стать публичным и легитимизированным со стороны адресата (аудитории). В случае перформативов полномочия говорящего на их осуществление должны быть подтверждены адресатом, что в данном случае делает чернец:

Чернец

Дай мне руку: будешь царь (с. 264).

Второе самоназывание описано в разговоре с Мариной. Для этого герой вначале вновь превращается в себя-прежнего, чтобы затем, отказавшись от себя-прежнего, стать Димитрием. Но в данном случае активной стороной выступает уже адресат. Попытка быть и Димитрием (для всех), и Отрепьевым (для себя и Марины) оказывается неудачной. Дмитрий в объяснении с Мариной пытается сохранить прежнее «Я»:



Самозванец

Нет! полно:

Я не хочу делиться с мертвецом
 Любовницей, ему принадлежащей... (с. 61).
 Не презирай молодого самозванца;
 В нем доблести таятся, может быть,
 Достойные московского престола,
 Достойные руки твоей бесценной... (с. 62).

Но для Марина важны не «доблести» индивида, а создаваемый именем его статус:

Димитрий ты и быть иным не можешь;
 Другого мне любить нельзя (с 61).

Григорий Отрепьев уже не может быть собой, он уже не идентичен себе-прежнему, а становится всего лишь телом (означающим), в котором воплотилась тень Дмитрия. Примечательно, что сам он, разоблачая себя перед Мариной, представляется не Григорием, а «самозванцем». Аналогично и Пушкин в своих ремарках заменяет имя «Отрепьев» на «самозванец». Тем самым осуществляется инверсия: существованием наделяется именно имя, «пустое имя, звук», тогда как Григорий, человек во плоти и крови, вынужден стать его означающим, его знаком, носителем (что, кстати, произойдет в истории, когда после гибели Отрепьева появятся новые Лжедмитрии, в которых воплотится значение имени «Дмитрий»). Дмитрий (или Лжедмитрий — различие между ними уже несущественно) оказывается знаком имени, он обречен быть тем, что сформулировала Марина (*Димитрий ты и быть иным не можешь*)⁶.

Второе рождение Дмитрия предстает как процесс наречения, причем не в купели, а в гробе, при этом остается неясным, в чьем гробе — Дмитрия-царевича или Ивана Грозного? Мертвый (точнее, его тень) усыновил живого, дав ему имя мертвого, — такова схема легитимации, которую создал для себя Григорий Отрепьев, чтобы окончательно стать Дмитрием.

Воскрешение тени подчинено собственной логике и уже оказывается неподконтрольно ни Дмитрию, ни Марине. Лжедмитрию не суждено стать Отрепьевым для Марины, но и Марина также не в состоянии его разоблачить Дмитрия. На эту угрозу он отвечает:

⁶ Как отметил Игорь Смирнов, «самозванец, переселившись в чужое тело, разрушил социальное содержание личного знака, соединяющего в преемственной линии разных его обладателей. Лжедмитрий I захватил власть в Московском государстве благодаря тому, что радикально преобразовал соотношение собственного имени и лица, которое им обозначается, установив полное тождество между собой и тем, кому он навязался в тезоименитство. Первая русская революция, разыгравшаяся в начале XVII в., была номинативным, антропонимическим событием» (Смирнов, 2004).

**Самозванец**

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?

Что более поверят польской деве,

Чем русскому царевичу? —

Марина

Постой, царевич. Наконец

Я слышу речь не мальчика, но мужа.

С тобою, князь, она меня мирит (с. 64—65).

Называвшая ранее Лжедмитрия бедным самозванцем, Марина теперь обращается к нему как к царевичу: ее примиряет с ним его *речь*, а точнее — то, что власть, то есть обладающие правом решать, уже приняла претензии самозванца говорить от лица царевича. Каким образом удостоверяется это право, станет предметом нашего рассмотрения в следующей части.

5. Со-творение самозванца

В трагедии описаны и другие механизмы воскрешения тени. В отличие от рассмотренной нами («Дмитрий — тот, кто говорит “Я — Дмитрий”»), они реализуют уже другую презумпцию: («Дмитрий — тот, кого называют Дмитрием»). Этим правом называния, или, точнее, правом на принятие решения называть этим именем, обладают, с одной стороны, власти Польши и Московской Руси, а с другой — народ.

Первоначально материализация тени Дмитрия обсуждается как возможность — *в разговоре* Василия Шуйского и Афанасия Пушкина. Убиенный Димитрий жив: этот оксюморон Афанасия Пушкина оказывается описанием реальной ситуации:

Пушкин

Сын Грозного... постой.

Державный отрок,

По манию Бориса убиенный...

Шуйский

Да это уж не ново.

Пушкин

Погоди: Димитрий жив.

Шуйский

Вот-на! какая весть!

Царевич жив!

Пушкин

Кто б ни был он, спасенный ли царевич,

Иль некий дух во образе его,

Иль смелый плут, бесстыдный самозванец,

Но только там Димитрий появился (с. 38—39).

Как видим, бояре, опытные политики, не вникают в то, кто носит имя Дмитрия — *дух, плут, или же державный отрок убиенный*. Главным оказывается событие материализации имени:



Пушкин

Его сам Пушкин видел,
Как приезжал впервой он во дворец
И сквозь ряды литовских панов прямо
Шел в тайную палату короля (с. 39).

Другой Пушкин, Гавриил, видел некоторого индивида, которого называли Дмитрием, то есть носителя имени «Дмитрий». Существенно не то, кто это на самом деле, важны возможные последствия, которые предвидят бояре:

Шуйский

Сомнения нет, что это самозванец,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Весть важная! и если до народа
Она дойдет, то быть грозе великой

Пушкин

Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержат венец на умной голове (с. 40).

Бояре парадоксальным образом воспроизводят изначальную дилемму: в мире, в котором царствует Борис, нет места Дмитрию, этот мир возник в результате убийства Дмитрия; появление в нем Дмитрия приведет к гибели Бориса. Существование Дмитрия отменяет происшедшее событие (убийство), но в этом мире, где жив Дмитрий, уже нет места ни Годунову, ни его потомству:

Народ *(несется толпою)*

Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова! (с. 96).

Аналогична позиция и другого Пушкина, которого автор трагедии считал своим предком: важно не кто таков носитель имени «Дмитрий», важно, что его появление в мире приводит к восстановлению состояния дел, которое до этого считалось контрфактуальным:

Басманов

Послушай, Пушкин, полно,
Пустого мне не говори; я знаю,
Кто он такой.

Пушкин

Россия и Литва
Димитрием давно его признали,
Но, впрочем, я за это не стою.
Быть может, он Димитрий настоящий,
Быть может, он и самозванец. Только
Я ведаю, что рано или поздно
Ему Москву уступит сын Борисов (с. 92–93).



Это понимает и сам самозванец:

...ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно (с. 65).

Власти — король, магнаты, бояре, Марина — описаны Пушкиным как носители семантики двоемыслия или же прагматической концепции истины — они знают, что Дмитрий мертв, Шуйским сам был свидетелем погребения царевича, но в то же время они готовы принять и противоположную точку зрения, признав в самозванце царевича. По Оруэллу: «Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить... отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, забыть то, что требуется забыть, и снова вызвать в памяти, когда это понадобится, и снова немедленно забыть, и, главное, применять этот процесс к самому процессу — вот в чем самая тонкость» (Оруэлл, 1989, с. 148). Именно так ведут себя носители власти в трагедии, а один из них, очевидец и активный участник всех текущих и грядущих политических процессов, будущий царь Василий Шуйский даже *«применяет этот процесс к самому процессу»*, в его формулировке:

Теперь не время помнить,
Советую порой и забывать (с. 16).

Воображаемая реальность, контрфактуальный мир (мир, в котором царевич спасся) становится действительным миром, действительный мир, в котором царствует Борис, становится контрфактуальным. Двойная референция имени «Дмитрий», которое может относиться и к мертвому, и к живому, приводит к тому, что оно становится своеобразным блендингом, отражает происшедший блендинг миров. Двоемыслие становится адекватным способом оперирования с подобной реальностью, основанной на взаимопроникновении актуального и воображаемого.

6. Мнение народное...

Другой агент, обладающий правом именованья, — это народ. Александр Пушкин вкладывает в уста своего предка прямое указание на этот источник легитимации:

Пушкин
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным (с. 93).



В иной стилистике, но ту же мысль высказывает и Шуйский:

Конечно, царь: сильна твоя держава,
Ты милостью, раденьем и щедротой
Усыновил сердца своих рабов.
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суверена,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она (с. 46).

Мнение народное основано на иных механизмах семантизации: имя полагается неотделимым от человека. Поэтому уловка Бориса — предать Отрепьева анафеме и петь вечную память Дмитрию — приводит к противоположному эффекту. Борис по совету патриарха предполагал этими действиями разоблачить самозванца, *сорвать с него* присвоенное им имя⁷. Однако во мнении народном — это разные индивиды, и петь вечную память живому царевичу — это святотатство, еще один тяжкий грех, вменяемый Борису:

Первый

Что? уж проклинали того?

Другой

Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил: Гришка Отрепьев — анафема!

Первый

Пускай себе проклинаят; царевичу дела нет до Отрепьева.

Другой

А царевичу поют теперь вечную память.

Первый

Вечную память живому! Вот уж им будет, безбожникам (с. 76).

Как видим, *мнение народное* может совпадать с прагматическим решением элит, хотя задействованные механизмы различны: народ исходит скорее из концепции жесткой десигнации, при которой исключается возможность Отрепьева стать Димитрием, и, напротив, для элит определяющим оказывается решение наречения именем, безотносительно к его каузальной истории. Безымянные представители народа — единственные, кто верит в версию чудесного спасения царевича, и именно они наделяют реальностью воображаемые конструкции, созданные властью:

⁷ Ср.: «Чтобы окончательно победить оноματοкрата, Григория Отрепьева, нужно было ритуально-магически уничтожить его подлинное имя, предав его по церквам анафеме. Тот факт, что оноματοлогией и борьбой с узурпаторами чужих имен занялась в России именно религиозная философия, мотивирован содержанием длительной истории отечественного самозванства — также религиозным» (Смирнов, 2004).

**Народ**

Что толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий наш отец.
Мужик на амвоне.
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!..
Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова! (с. 96).

Но «мнение народное» не всегда подконтрольно власти, оно существует, подчиняясь своей внутренней логике (о чем с ненавистью говорит в своем монологе царь Борис: *Живая власть для черни ненавистна, Они любить умеют только мертвых* (с. 27)). Оно может и радикально измениться. Можно предположить и последующее развитие, перемену во мнении. Так, знаменитый финал «Народ безмолвствует» может пониматься как перемена во «мнении народном» — произошедшее убийство жены и сына Бориса может стать причиной того, что «мнение народное» вправе лишит нового царя уже присвоенного ему имени:

Мосальский

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы.
Народ в ужасе молчит.
Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!
Народ безмолвствует (с. 98).

Впрочем, «мнение народное» может меняться от редакции к редакции. Так, в первоначальной редакции вместо ставшего классикой «*Народ безмолвствует*» было:

Народ

Да здравствует царь Димитрий Иванович! (с. 302).

7. Историческая память и изменяемость истории

Вопрос о семантике имени может быть напрямую соотнесен с историей. Так, согласно каузальной теории имени (К. Доннеллан, К. Эванс, С. Крипке), отношение между именем и индивидом удостоверяется посредством того, что предполагается цепочка наблюдателей начиная с момента наречения данного индивида данным именем. Непрерывная история его употреблений гарантирует идентичность индивида. Соответственно, конъюнктурная изменчивость памяти и забвения, разрыв этой цепочки, приведет к тому, что подобная процедура идентификации становится неосуществима, поскольку невозможно будет проследить индивида сквозь все моменты времени. В некоторых точках он может исчезнуть, а в следующих может появиться и другой индивид. Двоемыслие приводит к изменяемости прошлого, прошлое, история, конструируется на основе существующего в настоящий момент «мнения». Применительно к семантике имени ситуация крещения подменяется ситуацией именованья в данный момент времени: «Тот Дмитрий, кого называют Дмитрием здесь и сейчас». Однако подобному релятивистскому взгляду на прошлое предложена альтернатива: несмот-



ря на изменчивое «мнение», существует «истинное» описание дел, которое фиксирует никак не связанный с действием беспристрастный летописец, автор надличного текста, обращенного к надличному адресату. Изменчивым народному мнению и двоемыслию властей в романе противостоит летописец Пимен. В трагедии два персонажа, которые были очевидцами убийства царевича: это Василий Шуйский, умеющий одновременно и помнить, и забывать, как это он делает и в разговоре (сцена допроса) с Годуновым, и с Воротынским. «Лукавый царедворец» (так его именует Воротынский) Шуйский — очевидец-фальсификатор истории, именно он фиксирует ту созданную Борисом воображаемую ситуацию, которая должна занять место актуальной. Историческое описание заменяется моделью контрфактуальной:

Воротынский

Ужасное злодейство! Полно, точно ль
Царевича сгубил Борис?

Шуйский

Я в Углич послан был
Исследовать на месте это дело:
Наехал я на свежие следы;
Весь город был свидетель злодеянья;
Все граждане согласно показали;
И, возвратясь, я мог единым словом
Изобличить сокрытого злодея.

Воротынский

Зачем же ты его не уничтожил?

Шуйский

Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью нежданной,
Он мне в глаза смотрел, как будто правый:
Расспрашивал, в подробности входил —
И перед ним я повторил нелепость,
Которую мне сам он нашептал (с. 6–7).

Свое поведение Шуйский объясняет не столько страхом, сколько бесполезностью оспаривать ту версию, которая уже принята властью (в данном случае источник власти — это влияние Годунова на царя Федора). Даже еще не будучи принятой, она может нуждаться в подтверждении, но не может быть опровергнута, поскольку носители иной точки зрения будут уничтожены (действует своего рода *argumentum ad mortem*, см.: (Тульчинский 2020б)):

Шуйский

А что мне было делать?
Все объявить Феодору? Но царь
На все глядел очами Годунова,
Всему внимал ушами Годунова:
Пускай его б уверил я во всем,
Борис тотчас его бы разуверил,
А там меня ж сослали б в заточенье,
Да в добрый час, как дядю моего,
В глухой тюрьме тихонько б задавили.



Не хвастаюсь, а в случае, конечно,
Никая казнь меня не утрашит.
Я сам не трус, но также не глупец
И в петлю лезть не соглашуся даром (с. 7).

Другой очевидец, летописец Пимен, доводит свое повествование именно до момента убийства царевича. В трагедии он оказывается единственным, кто мнению противопоставляет *истину*. Летописец Пимен — не только носитель памяти, но также, описывая события так как они происходили на самом деле, становится создателем *истории как описания того, что имело место*. Останется не официально принятая версия, а описанное беспристрастным наблюдателем:

Григорий
Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца, —
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда (с. 23).

В рассказе Пимена сформулирована уже ставшая невозможной альтернатива:

Пимен
Да лет семи; ему бы ныне было
(Тому прошло уж десять лет... нет, больше:
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник
И царствовал; но Бог судил иное (с. 22).

Но именно беседа Пимена подтолкнула Отрепьева к решению принять имя Дмитрия. Имя творит индивида и преобразует воображаемый контрфактический мир в актуальный. Но как быть, если «Бог судил иное»? Если мир должен быть именно таким, как есть, то попытка актуализации иных состояний дел неправомерна. Если «Бог судил иное», то именовать себя Дмитрием — «ересь», что сказано прямо в трагедии:

Патриарх
Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! буду царем на Москве... Ведь это ересь, отец игумен.

Игумен
Ересь, святой владыко, сущая ересь (с. 24)⁸.

⁸ Ср.: «Соответствующее восприятие (Лжедмитрия как еретика и колдуна. — С. 3.) возникает, по-видимому, еще при жизни Лжедмитрия: в анонимном известии 1605 г. говорится, что после появления Лжедмитрия на политической арене Борис Годунов послал на польский сейм послов и «они распространили слух, что Димитрий есть сын одного священника и широко известный чародей», а в дальнейшем такой же слух был пущен Борисом и в московских землях... Соответственно, Лжедмитрия и похоронили как колдуна» (Успенский, 1994, с. 90, 92).



Как известно, историческая канва трагедии изложена в соответствии с «Историей» Карамзина. Трагедия начинается с посвящения: «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин» (с. 9). Более того, предварительное знакомство с «Историей» Карамзина Пушкин считал необходимым для понимания своей трагедии⁹. Карамзин основывался на сведениях, почерпнутых им в летописных источниках. Посвящая трагедию памяти Карамзина и прямо отсылая к его «Истории» как ее источнику (*труд, гением его вдохновенный*), Пушкин создает иллюзию того, что он воспроизводит изложенную в летописи Пимена *истинную историю*, формирующую не зависящую от участников событий историческую память. Поэтому он может восстановить «правильную» каузальную историю имени и тем самым разоблачить все те лжеименования, которые пытались утвердить описанные им участники событий.

7. Заключение

Интуиция Пушкина позволила ему увидеть те проблемы, которые возникли в аналитической философии имени во второй половине XX века, причем его интуиция дана не в виде смутных догадок, а как достаточно четко сформулированные условия возникновения проблематичных ситуаций. В пользу такого предположения говорит то, что Пушкин последовательно создает контексты, в которых проверяется приемлемость или неприемлемость недолжного («еретического») употребления имени собственного: описано, при каких условиях персонажи отказываются от канонического именования и прибегают к «еретическому». Заметим, что подобному испытанию подвергается только имя «Дмитрий». Применительно ко всем другим именам наблюдается «каноническое» употребление, предполагающее взаимно-однозначное соответствие между именем и его носителем, и во всех возможных мирах имя выделяет одного и того же индивида. И только имя «Дмитрий» и его перифраза (Царевич) ведет себя по-иному и способно выделять различных референтов. Пушкин воспроизводит два типа тестирующих ситуаций — один из них связан с «многоиндивидуальностью» имени *Дмитрий*, отсылающего к двум различным индивидам, другой — с «многоименностью» индивида Григория — Дмитрия. Для индивида, который может быть поименован по-разному, его имя определяется не функцией идентификации индивида в различных мирах, а миром — контекстом наименования: в некоторых мирах герой именуется Дмитрием, в некоторых — Григорием, а единственная попытка этого индивида быть одновременно и Дмитрием, и Григорием едва не приводит

⁹ Ср.: «Вот моя трагедия, раз уж вы непременно хотите ее иметь, но я требую, чтобы прежде, чем читать ее, вы перелистали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени, вроде наших киевских и каменных обиняков. Надо понимать их — (*conditio sine qua non* (лат. «непрерывное условие». — С. 3.))» (черновик письма к Н. Н. Раевскому в 1829 году) (Пушкин, 1941, с. 394; пер. с франц.).



его к гибели («Недаром я дрожал. Она меня чуть-чуть не погубила») (с. 65). «Воскрешение» Дмитрия требует исчезновения Отрепьева. Зависимость именования от контекста четко прослеживается уже в том, что Пушкин в ремарках применительно к различным эпизодам по-разному называет своего героя. Его реплики предваряют четыре разных наименования: вначале, в сценах в России это Григорий Отрепьев. Далее, в сценах в Польше и затем вновь в России, автор именуется этого же персонажа по его статусной функции — Самозванец, а также, куда реже, и Лжедмитрий. Один раз он назван даже Дмитрием, и это кажется не случайной опiskой: так он именуется при произнесении героем, пожалуй, наиболее «судьбоносного» монолога: «Тень Грозного меня усыновила, / Димитрием во гробе нарекла» (с. 64).

Что касается использования имени «Дмитрий» прочими персонажами, то оно употребляется применительно к следующим референтам:

1) Убиенный царевич Дмитрий — в мире, который соотнесен со временем говорения персонажей «Бориса Годунова», он «во гробе спит», но также является в виде тени во сне и исцеляет страждущих, пришедших помолиться на его могилу;

2) Индивид, который ранее назывался Григорием Отрепьевым;

3) В актах самоназывания это референт местоимения «Я» в высказываниях, произнесенных индивидом, который ранее именовался Григорием Отрепьевым и ныне называет себя царевичем Дмитрием.

Эти три фактора определяют удачные условия самозванства как перформатива: 1) акт самоназывания; 2) наличие того, кто прежде назывался этим именем; 3) мнение народа и властей — наличие тех, кто готов назвать Дмитрием индивида, ранее именовавшегося Григорием. С третьим условием связано наделение статусом. При этом внутренняя хронология трагедии задается референцией имени. Миром-временем будем считать интервал, данный самой трагедией, — начиная с момента, когда имя Дмитрий относится к несуществующему царевичу Дмитрию, но не к существующему Григорию Отрепьеву (момент времени от воцарения Бориса до сцены у Чудова монастыря), и вплоть до финала (признается существование царя Дмитрия и соответствующая референция имени провозглашается единственно верной). Срединное место в этом интервале занимает ситуация наличия двух имен у одного и того же референта (для одних — он Гришка Отрепьев, для других — царевич Дмитрий), для обладающих способностью двоемыслия представителей власти, а также самого героя — это один и тот же индивид, но в зависимости от контекста он должен именоваться по-разному. Именование становится вопросом не столько референции, сколько веры и мнения. В одних темпоральных мирах контекстах референты имен Дмитрий и Григорий Отрепьев сосуществуют, в других исключают друг друга. Имя наделяется самостоятельным существованием, поэтому с гибелью самозванца оно и обзаводится новым носителем — появляется второй Лжедмитрий, «Тушинский вор», а затем третий, «Псковский вор». Это продолжение, по всей вероятности, учитывалось Пушкиным в его семантических конструкциях.



Вернемся к ключевому вопросу — что есть семантика имени собственного? Является ли оно сгущенной дескрипцией (Б. Рассел), жестким десигнатором (С. Крипке), набором сущностных свойств (Hintikka, 1972) или же каузальной историей употреблений (К. Доннеллан)? Ответ, к которому приводит анализ семиотики самозванства, таков: в различных употреблениях и контекстах применительно к различным прагматическим условиям могут быть актуальны различные характеристики. Обобщая, можно свести семантику самозванства к бинарному отношению — имя собственное выступает как сгущенная дескрипция, или даже голограмма, но выделяет при этом не носителя этих свойств и статуса, а претендующего на обладание ими «двойника». Но при этом употребление данного имени претендует на то, чтобы восприниматься как жесткий десигнатор, то есть во всех мирах выделять одного и того же индивида, а не его двойников. Самозванство есть явление, которое намеренно нарушает употребление имени как жесткого десигнатора и в то же время апеллирует к такому употреблению, это своего рода «жесткий лжедесигнатор».

Самозванство возможно там, где существует жесткая связь между именем и носителем. Дело не только в том, что в случае самозванства индивид именуется различными именами: в отличие от псевдонима, во-первых, новое имя трансформирует его носителя — он должен перестать быть тем, что было референтом имени прежнего; во-вторых, референтом принимаемого должно быть лицо, существовавшее или существующее и обладающее перформативным статусом. Присвоение статусных свойств, описываемых этим именем, то есть употребление имени как сгущенной дескрипции (синтез теории имени Рассела и Хинтикки), приводит к обладанию властными полномочиями или к претензии на такое обладание. В основе самозванства как семантического явления лежит злоупотребление или манипуляция потенцией имени выступать как сгущенная дескрипция или даже голограмма (когда не только свойства индивида, но и возможный мир выстраивается вокруг имени). Семантика имени перестает быть отношением между знаком и референтом, а требует всего набора статусных свойств, приписываемых или «мнением народным», или же на основе договоренности между носителями власти. Референция имени теряет объективный характер и преобразуется в вердикт — как решение лица, обладающего властью (польский король и магнаты, семейство Мнишек, московские бояре) или иной легитимностью (*мнение народное*). Вместе с тем акт самозванства и его признание правящим классом меняет прошлое: то, что оставалось нереализованной возможностью (царствование Дмитрия) становится актуальностью. Актуальным миром оказывается тот, в котором Дмитрий жив, и, стало быть, должен исчезнуть тот мир, в котором Дмитрий мертв, а царствует Борис Годунов. Эта логико-семантическая трансформация реализуется в истории: живой становится мертвым (умирает Годунов), мертвый — живым (оживает и воцаряется Дмитрий), оживает убитый наследник Ивана — убит живой наследник мертвого Бориса. Сам Пушкин не только не дает окончательного ответа, но и сам воспроизводит разноименность в ремарках: в зависимости



от контекста главный герой именуется Отрепьевым, Самозванцем, Лжедмитрием и однажды — Дмитрием. Еще одна тематическая линия связана с памятью, на которой основана каузальная теория имени, и возможностью отказа от памяти: прерывается цепь наблюдателей, которые в состоянии проследить тождество отношения между именем и его носителем. Вместе с тем сохраняется возможность *истинного* описания того, что имело место, и восстановления *правильной* истории. Все эти особенности, с одной стороны, позволяют предложить дополнительное, логико-семантическое измерение для интерпретации «Бориса Годунова», а с другой — существенно уточняют имеющиеся теории имени собственного, показывая их возможные нетривиальные, а в некоторых случаях проблематичные, следствия.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ в рамках проекта № 18-18-00442 «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

Список литературы

Арканникова М.С. Самозванство как объект социально-политологического анализа // *Философские науки*. 2009. №12. С. 27–44.

Бенвенист Э. *Общая лингвистика*. М., 1974.

Витгенштейн Л. *Философские исследования* // *Языки как образ мира*. М.; СПб., 2003. С. 220–546.

Гофман Э.Т.А. Серапионовы братья / пер. А. Соколовского // *Серапионовы братья: Э.Т.А. Гофман. «Серапионовы братья»*; «Серапионовы братья» в Петрограде: антология / сост. А.А. Гугнина. М., 1994. С. 41–596.

Золян С.Т. «Я» поэтического текста: семантика и прагматика // *Тыняновский сборник*. Рига, 1988. Вып. 3.

Золян С.Т. «Вот я весь...» — к анализу «Гамлета» Бориса Пастернака // *Даугава*. 1988. №11. С. 97–104.

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. «Се яз раб Божий...» Многоименность как фактор и факт древнерусской культуры. СПб., 2020а.

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Подлинные и мнимые имена Бориса Годунова // *Slovène*. 2020б. Vol. 9, №1. С. 185–231.

Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет: роман и художественная публицистика / пер. В. Гольщева; сост. В.С. Муравьев. М., 1989. С. 22–220.

Пушкин А.С. *Полн. собр. соч.*: в 16 т. М.; Л., 1941. Т. 14: Переписка. 1828–1831.

Пушкин А.С. Борис Годунов // *Полн. собр. соч.*: в 16 т. М.; Л., 1948. Т. 7: *Драматические произведения*. С. 1–98; 263–302.

Пушкин А.С. Уединенный домик на Васильевском // *Полн. собр. соч.*: в 10 т. Л., 1979. Т. 9. С. 351–373.

Самозванцы и самозванчество в Московии: матер. междунар. науч. семинара (25 мая 2009 г., Будапешт). Будапешт, 2010.

Скрынников Р.Г. *Самозванцы в России в начале XVII века*. Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1990.

Смирнов И.П. Самозванство и философия имени // *Звезда*. 2004. №3. URL: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=35> (дата обращения: 10.09.2020).



Тумльчинский Г.Л. Самозванство. Феноменология зла и метафизика свободы. СПб., 1996.

Тумльчинский Г.Л. Философия поступка: самоопределение личности в современном обществе». СПб., 2020а.

Тумльчинский Г.Л. Argumentum ad mortem в дискурсе насилия; семантика и прагматика «радикальной» аргументации // Слово.ру: балтийский акцент. 2020б. Т. 11, №4. С. 58–64.

Успенский Б.А. Царь и самозванец: культурный феномен // Избр. труды. М., 1994. Т. 1. С. 75–109.

Успенский Б.А. Мена имен в России и исторической и семиотической перспективе // Избр. тр. М., 1996. Т. 2. С. 187–202.

Чистов В.К. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XVIII вв. М., 1966.

Hintikka J. The Semantics of Modal Notions and the Indeterminacy of Ontology // Semantics of Natural Language. Synthese / eds. D. Davidson, G. Harman. Vol. 40. Dordrecht, 1972.

Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge, MA, 1980.

Lewis D. Counterfactuals. Oxford, 1973.

Lewis D. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic // Journal of Philosophy. 1968. Vol. 65 (5). P. 113–126.

Ricœur P. Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning. Texas, 1976.

Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. Philosophical investigations / transl. by G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker and J. Schulte. Chichester, 2009.

Об авторе

Сурен Тигранович Золян, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт философии, социологии и права Национальной академии наук Армении, Армения.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

Для цитирования:

Золян С.Т. Самозванство как проблема референции: семиотика имени в «Борисе Годунове» // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 53–77. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4.

IMPOSTURE AS A PROBLEM OF REFERENCE: SEMIOTICS OF THE NAME IN BORIS GODUNOV

S. T. Zolyan¹

¹ Institute of Philosophy, Sociology and Law,
National Academy of Sciences of Armenia
44 Arami St., Yerevan, 375010, Armenia

Submitted on October 05, 2020

doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4

In this article, we continue to address the mechanisms of presenting oneself as another and another as oneself. In this regard, non-trivial features of the semantics of a proper name are described. Based on the analysis of contexts of inappropriate use of a name in a situation of imposture, described in Pushkin's tragedy Boris Godunov, the author considers semiotic mechanisms of transformation and assignment of identity. The article shows that Pushkin's



intuition allowed him to see the problems that arose in the analytical philosophy of the name of the second half of the 20th century. Pushkin consistently creates contexts in which the conditions of acceptability or unacceptability of deviating uses are tested. On the one hand, these features allow the author to offer an additional, logical and semantic dimension for the interpretation of the tragedy Boris Godunov. On the other hand, they significantly clarify the existing theories of the proper name, showing their possible non-trivial, and in some cases, problematic consequences. Simultaneously, the logical-semantic analysis makes it possible to identify the mechanisms of imposture and the communicative conditions for its success.

Keywords: Pushkin, Boris Godunov, proper name, imposture, semantics of possible worlds

References

- Arkannikova, M.S., 2009. Imposture as an object of socio-political analysis. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences], 12, pp. 27–44 (in Russ.).
- Benveniste, E., 1974. *Obshchaya lingvistika* [General linguistics]. Moscow (in Russ.).
- Chistov, V.K., 1996. *Russkie narodnye sotsial'no-utopicheskie legendy XVII–XVIII vv.* [Russian folk socio-utopian legends of the 17th–18th centuries]. Moscow (in Russ.).
- Hintikka, J., 1972. The Semantics of Modal Notions and the Indeterminacy of Ontology. In: D. Davidson and G. Harman, eds. *Semantics of Natural Language. Synthese*. Vol. 40. Dordrecht.
- Hoffmann, E.T.A., 1994. Serapion brothers. In: A.A. Gugnina, ed. «Serapionovy brat'ya» v Petrograde: antologiya [The Serapion Brothers in Petrograd: Anthology]. Moscow, pp. 41–596 (in Russ.).
- Kripke, S., 198. *Naming and Necessity*. Cambridge, MA.
- Lewis, D., 1968. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic. *Journal of Philosophy*, 65 (5), pp. 113–126.
- Lewis, D., 1973. *Counterfactuals*. Oxford.
- Litvina, A.F. and Uspenskii, F.B., 2020a. «Se yaz rab Bozhii...» Mnogoimennost' kak faktor i fakt drevnerusskoi kul'tury [«Behold the servant of God...» Multiple names as a factor and fact of ancient Russian culture]. St. Petersburg (in Russ.).
- Litvina, A.F. and Uspenskii, F.B., 2020b. The real and imaginary names of Boris Godunov. *Slověne*, 9 (1), pp. 185–231 (in Russ.).
- Orwell, J., 1984. *Oruell Dzh. «1984» i esse raznykh let: roman i khudozhestvennaya publitsistika* [Orwell J. «1984» and essays of different years: a novel and artistic journalism]. Translated by V. Golysheva. Moscow, pp. 22–220 (in Russ.).
- Pushkin, A.S., 1828–1831. *Poln. sobr soch.: v 16 t.* [Complete works: in 16 volumes]. Vol. 14: Correspondence. Moscow; Leningrad (in Russ.).
- Pushkin, A.S., 1979. Secluded house on Vasilievsky. In: *Poln. sobr soch.: v 10 t.* [Complete works: in 10 volumes]. Vol. 9. Leningrad, pp. 351–373 (in Russ.).
- Ricœur, P., 1976. *Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning*. Texas.
- Skrynnikov, R.G., 1990. *Samozvantsy v Rossii v nachale XVII veka. Grigorii Otrep'ev* [Impostors in Russia at the beginning of the 17th century. Grigory Otrepiev]. Novosibirsk (in Russ.).
- Smirnov, I.P., 2004. Imposture and philosophy of the name. *Zvezda* [Star]. Available at: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=35> [Accessed 10 September 2020] (in Russ.).
- Szvák, G., ed., 2010. *Samozvantsy i samozvanchestvo v Moskovii: materialy mezhdunarodnogo nauchnogo seminara* [Impostors and impostors in Muscovy: international scientific seminar proceedings]. 25 May 2009. Budapest (in Russ.).
- Tul'chinskii, G.L., 1996. *Samozvanstvo. Fenomenologiya zla i metafizika svobody* [Imposture. The phenomenology of evil and the metaphysics of freedom]. St. Petersburg (in Russ.).



Tul'chinskii, G. L., 2020a. *Filosofiya postupka: samoopredelenie lichnosti v sovremenom obshchestve* [Philosophy of action: self-determination of personality in modern society]. St. Petersburg (in Russ.).

Tul'chinskii, G. L., 2020b. Argumentum ad mortem in the discourse of violence; semantics and pragmatics of «radical» argumentation. *Slovo.ru: Baltic accent*, 11 (4), pp. 58–64 (in Russ.).

Uspenskii, B. A., 1994. Tsar and impostor: a cultural phenomenon. In: *Izbrannye Trudy* [Selected Works]. Vol. 1. Moscow, pp. 75–109 (in Russ.).

Uspenskii, B. A., 1996. Change of Names in Russia and a Historical and Semiotic Perspective. In: *Izbrannye Trudy* [Selected Works]. Vol. 2. Moscow, pp. 187–202 (in Russ.).

Wittgenstein, L., 1958. *Philosophical investigations*. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford.

Wittgenstein, L., 2003. Philosophical research. In: M. Müller et al., eds. *Yazyki kak obraz mira* [Languages as an image of the world]. Moscow; St. Petersburg, pp. 220–546 (in Russ.).

Zolyan, S. T., 1988a. «I» of the poetic text: semantics and pragmatics. In: *Tynyanovskii sbornik* [Tynyanov collection]. Vol. 3. Riga (in Russ.).

Zolyan, S. T., 1988b. «Here I am all...» – to the analysis of «Hamlet» by Boris Pasternak. *Daugava*, 11, pp. 97–104 (in Russ.).

The author

Prof. Suren T. Zolyan, Leading Researcher, Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Sciences of Armenia, Armenia.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

To cite this article:

Zolyan, S. T. 2021, Imposture as a problem of reference: semiotics of name in Boris Godunov, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 53–77. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

УДК 81`25

TRANSLATING PHILOSOPHICAL AESTHETICS: PERITEXT AS A WINDOW INTO THE TRANSLATOR'S MIND

Part 2

L. B. Boyko¹, A. K. Gulina¹

¹ Immanuel Kant Baltic Federal University
14, A. Nevskogo str., Kaliningrad, 236016, Russia
Submitted on September 09, 2020
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-5

Providing space for elucidating key translational issues is not a mundane practice but a privilege only hand-picked texts enjoy, philosophical writings among them. The challenge of translating philosophical discourse is widely recognized but scarcely explored. In this article, translation of philosophical texts is regarded as a procedure of knowledge transfer from one intellectual space into another and of knowledge-making through reconceptualization of key terms. This process is made partly observable in various types of notes – a special cluster of additional information known as translational peritext where translators are given an opportunity to explicate their decisions made in the course of translation. Among translation hurdles in philosophical discourse are technical terms which are often either invented or reconceptualized by the scholar and then need to be re-contextualized by the translator. Seeking to reflect on translation as a heuristic process, this paper will focus on the resolution of the potential cognitive dissonance and the translator's justification of sense-oriented strategies in dealing with such key concepts as 'connoisseur', 'grace', 'sublime', and 'je ne sçai quoi' in the translation of the seminal work on the philosophy of aesthetics Analysis of Beauty by the celebrated 18th century English artist William Hogarth.

Keywords: *peritext, translation, concept, decision-making, knowledge making, commentary, philosophy*

Concernant les textes philosophiques, armés d'une sémantique rigoureuse, le paradoxe de la traduction est mis à nu.

Paul Ricœur (2004, p. 13)

1. Introduction

An apparently smaller share of existing commented translations compared to non-commented ones only buttresses the assumption that translatorial paratext (the term introduced by (Deane-Cox, 2012)) should be regarded as a privilege only truly remarkable texts enjoy (Schögler, 2018). A common-



ly acknowledged challenge, philosophical translation calls for the substantiation of the translator's decisions made about the core concepts supporting the author's ideological framework rests. Taking over from our previous paper (see details in: Boyko et al., 2021), in this article we will revisit the translatorial peritext of the Russian translation of W. Hogarth's *Analysis of Beauty*, this time concentrating on terminological comments. Apart from being educating and enlightening like the previously discussed ones, these notes also largely define both the author's and the translator's stance. In (Ibid.), in pursuit of what begs commenting, we left unattended the rationale behind it: translators sometimes show what they choose to comment on (Han, 2005) – but why?

Using a bunch of commented lexical units, the present paper aims to show how peritext allows translators to participate in the “constitution of scientific discourse itself” (Olohan & Salama-Carr 2011, p. 187) and to realise their creative identity through establishing their province of influence in the course of fulfilling the cognitive task of an interpreter – namely, creating new meaning and ultimately producing knowledge (Avtonomova, 2020; Heller & Payne, 2019; Rée, 2001, p. 223; Shulga, 2002). With the purpose to reveal the cognitive mechanics of translation conundrums, we will briefly touch on the translational challenges in philosophical discourse in the Introduction. The Discussion section investigates translational decisions accounted for in the peritext of the Russian translation of W. Hogarth's *Analysis of Beauty*. An attempt will be made to detect the instances where the translator's cognitive dissonance surfaces. The Conclusion sums up the results of this study.

2. Translation as hesitation in philosophical milieu

Philosophical discourse is being permanently enriched owing to the process in which non-philosophical terms, while retaining their original content, acquire new meanings and generate new content. Thus, new concepts are created. In the course of conceptualization, ontological perceptions are involved in processing empirical material – in other words, the initial empirical data undergo theoretical structuring (Malukova, 2016). Similarly, in the course of translation, interpretation and explanation take place at this stage of conceptualization building on old conceptual experience and creating new knowledge. Philosophical writing is remarkable for its “obscurity and incomprehensibility” (Rée, 2001, p. 227): “Philosophy is obsessed with words, of course, but on the whole, it shuns the fancy aristocrats of language, as well as its specialized technicians and artisans; it seeks the company, rather, of its swarming universal proletarians. And it is not the specialized vocabularies that give problems to the philosophical translator, but the manifold precisions of these ordinary untechnical terms” (Ibid., p. 230). Philosophers are known to invent their own terms, or assign new meanings to old ones (Parks, 2004); they are capable of making a term of virtually any word like *truth* or *existence*. Translators may “have it easy” on the one hand, for sometimes such terms can be safely transliterated (like *ethics*); on the other hand, they tend to develop differently in different languages (Rée, 2001, p. 229).



Indeed, being intrinsically subjective, philosophical translation involves both philosophical reading and philosophical rewriting (Whitehead, 2012, p. 62). Therefore, the role of peritext in philosophical discourse cannot be overestimated as it gives space for translators to share their hesitations and justify their creative solutions achieved in the course of such rewriting. Any commentary is a targeted endeavour: unlike a dictionary, it selects sensitive items relevant for understanding (Rozina, 1988, p. 261), the ones that can be treated like terms or used specifically in a particular context.

Translators' mental operations occur in the in-between area where the author's cognitive space meets the translator's one. Cognitive search as the major mental operation in the process of translation reveals the shuttle nature of hypothesising and rejecting the conceptualizations and subsequent verbalizations (Minchenkov, 2019) where responsible decision-making is crucial for successful translation. It is not infrequent that in this "no-man's land" the flow of translation thought is interrupted because the translator may face uncertainty (Angelone, 2010) causing hesitation and requiring resolution in the translation process. Information ambiguity occurs at different levels (linguistic and non-linguistic), and for a plethora of reasons too; it emerges as cognitive dissonance at work, and it needs resolution. The author of the concept of cognitive dissonance, L. Festinger, understood it as the inner conflict occurring when individuals encountered inconsistencies among cognitive elements (logical, cultural, experiential among many more) (Festinger, 1957, pp. 13–14). It is not surprising that the concept of cognitive dissonance has transcended the boundaries of psychological studies to be successfully applied in cognitive research and translation studies (Voskoboynik, 2007; Angelone, 2010; Halverson, 2010). Commented translation provides a vast field for observing cognitive dissonance at work, especially when there is a need to reconceptualize core concepts in philosophical writing.

3. Material and methodology

The study draws on the notes accompanying the 1987 Russian translation of the *Analysis of Beauty* by William Hogarth (see details in: Boyko et al., 2021). In this paper we will also occasionally resort to the earlier translation of the treatise into Russian by A. Sydorov (Hogarth, 1936), but for the sake of comparing some of the translation decisions only: Sydorov's is an abridged translation, and the very few translator's endnotes contain no information relevant for our research. However, this translation reflects the author's creed thus allowing us to trace how the essential concepts are treated in translation.

The "target group" of comments chosen for this study concerns the key terms defining Hogarth's theory not covered in the previous paper. Focusing on the conceptual value of such terms we will, therefore, bypass a bunch of words and phrases whose translation is acknowledged in the comments for other than ideological reasons. Such are the purely technical terms like *Cyma recta* (Latin) or *Il poco piu* (Italian) duly retained in the target text (TT) in the original spelling and dubbed into Russian; two more are the untranslatable (according to the commentator) *diapason* and *double suprabipartient*,



also deliberated on in the peritext. The words *Gothic* and *taste* earn a mention in the comments not for their translational aspect – which is straightforward – but because of the epistemological significance of these concepts in the history of arts. Although all these concepts indeed constitute part of Hogarth's worldview, we will forego their investigation as they caused no cognitive dissonance in translation.

Cognitive dissonance, meanwhile, is the point of departure in this research, for we posit that, caused either by the translator's uncertainty or the obscurity and ambiguity of some lexical instances, it compels the translator-commentator to pay heed to them. Thus, the selection leaves us with the key terms *grace*, *sublime*, *je ne sçai quoi*, and *connoisseur*. Approaching their meanings through a range of dictionary entries, we will also look into the collocability of the selected words and phrases. A word's currency implies its cultural significance, so to trace it we will use Ngram Viewer (see Michel & al., 2011) – an online search engine allowing us to see the popularity of a word or phrase.

4. Discussion

4.1. Grace

In terms of lexical translation choices, of utmost interest is the word *grace* representing one of the key concepts in the treatise. To begin with, *grace* is a well-established philosophical term whose “mysterious quality” is meticulously investigated and traced back to the 16th century in (Monk, 1944). Summarizing de Piles' and Pope's views regarding the concept, Monk concludes that they “agree (1) that Grace is a distinct aesthetic quality; (2) that it is a gift of nature; (3) that it is to be distinguished from those beauties that rules make possible; (4) that its effect is sudden and surprising; (5) that it defies analysis; (6) that it appeals rather to the heart than to the head; (7) that it is especially the mark of genius”. (Ibid., p. 132) This set of qualities alone is enough to demonstrate that an all-embracing formal explication of the term is not easy at all. As De Piles puts it, “tis (*Grace of Painting*) to be conceiv'd and understand much more easily than to be explain'd by words. It proceeds from the illumination of an excellent Mind, which cannot be acquir'd, by which we give a certain turn to things which makes them pleasing, and have all its parts regular, which notwithstanding all this, shall not be pleasing, if all these parts are not put together in a certain manner, which attracts the Eye to them, and holds it fix'd upon them; For which reason there is a difference to be made betwixt Grace and Beauty”. (Ibid., p. 145) Not surprisingly, therefore, the term finds its way to the philosophical *Dictionary of Untranslatables*: “The Latin *gratia* (from *gratus*, “pleasant, charming, dear, grateful”) refers to a way of being agreeable to others or vice versa. It suggests ‘favour, gratitude, good relations’, including at the physical level: “charm, attractiveness” (Cassin et al., 2014, p. 454). With the term “hover(ing) at the boundaries of the aesthetic and religious” (Ibid., p. 454), its aesthetic reading is forwarded to the dictionary entry “*pleasure*” (the Greek *charis* expressing the pleasure of being in the beauty of the world); and to “*beauty*” for the rela-



tion among *grace*, *beauty* and *je ne sais quoi*. A worthwhile factor that should not be overlooked is the popularity of the word – if fluctuating, but not markedly declining until much later than Hogarth virtually preached the concept (Fig. 1).



Fig. 1. Currency of *grace* in Google Ngram Viewer

The attention the word receives in philosophical discussion testifies to the fact that the concept by far exceeds the boundaries of its dictionary definition. We would dare to suggest that such an expansion of the concept and ensuing philosophising on it is made possible owing to the conceptual blending of two input spaces initially present at the point of borrowing: etymologically, *grace* is defined as “sense of “virtue” (early 14c.), on the one hand, and “beauty” of form or movement, pleasing quality” (mid-14c), on the other (1)¹. The English word, therefore, retains both the original meanings of elegant moving (Italian *muoversi con grazia*) and tact, politeness (*favore, benevolenza*) (2). The Russian language also borrows the word (*грация*), but only to keep the “visual” facet of the concept applicable exclusively to descriptions of movement and comportment of humans and animals.

The peritext under study contains an extensive explanation of why the word is translated as *привлекательность* (*attractiveness*) in (Hogarth, 1987, p. 207) – in our opinion, a more than questionable Russian counterpart for *grace*². Seeing that the justification of this translational decision is among the longest notes in the whole peritext, we can reckon that arriving at this variant was not easy. The complexity of the original concept and the need to adequately transfer it to the foreign soil creates tension between two cognitions (Cooper & Carlsmith, 2001), and begs for resolving the inconsistency. Since we know that two agents were involved in the translation process (see de-

¹ For all the dictionary entries used in the article – cardinal numbers in round brackets from here onwards – see the List of Dictionary References below.

² A snap poll among at least 30 Russian native speakers at a conference showed zero support for this variant.



tails in: Boyko et al., 2021), with a little stretch of imagination one could picture the translator Melkova and the translation editor Alexeev debating this issue. All the more reason for contention could be envisioned in the earlier (1936) translation where the concept was verbalized as “очарование” (\approx charm, allure, *charisma*). With the apparent cognitive dissonance in view, let us take a closer look at how this key concept is treated in the treatise.

The commentator insists that in Hogarth’s time it was exactly in the sense of *привлекательность* that the word was used. He maintains that in England and France the concept of *grace* was rather opposed to *beauty*. In his reasoning Alexeev resorts to R. de Piles who says that *grace*, unlike *beauty*, is something of great appeal that we cannot embrace with our mind. The commentator also makes a reference to Lessing’s *Laocoon*, where the interplay of *charm*, *beauty*, and *grace* is elaborated on, and *charm* is claimed to be “beauty in motion” (Lessing, 1853, p. 149). Although the beauty of motion is the cornerstone of Hogarth’s theory (“For the greatest grace and life that a picture can have, is, that it expresse *Motion*: which the Painters call the *spirite* of a picture” (Hogarth, 2010, p. 21), the translator correctly assumes that it is the “spiritual” component that constitutes the core of the concept. The vehemently defended translation variant *привлекательность*, however, encapsulates a concept of far less appealing capacity than that suggested by *grace* in Hogarth’s understanding of it. The Russian word *привлекательность* semantically echoes every single morpheme of its English counterpart *attractiveness*; it functions in similar contexts too. *Attractiveness* is a positive quality of a very broad sense embracing everything from appearance to investment – but it is never irresistible. Meanwhile, Hogarth’s “line of beauty” suggests such grace that one cannot tear their eyes from it. In order to recontextualize the concept and verbalise it in translation it would be helpful to exploit the idea of pleasure produced by such lines also present in dictionary definitions: *grace* – “a pleasing appearance or in effect” (3), and the idea that there is some force beyond human ability to resist it.

Interestingly, although *grace* is used terminologically in the treatise, and even though the commentator defends the above-discussed translation variant, he treats the term differentially in the TT using not one, but four words. Thus, out of 56 *grace* lemmata found in the original, only 29 are translated as *привлекательность*, four of occurrences taking inverted commas – which is not trifling. With the exception of one such case where the use of inverted commas is grammatically necessitated in Russian (*become a fashionable phrase for grace* (Hogarth, 2010, p. 21) – *что мы называем словом «привлекательность»* (Hogarth, 1987, p. 109), all other cases signal hedging (*the least grace in his pictures* (Hogarth, 2010, p. 23) – *«привлекательность» присутствует в той мере* (Hogarth, 1987, p. 110)); (*never so much as deviated into grace* (Hogarth, 2010, p. 23) – *не отклонялся в сторону «привлекательности»* (Hogarth, 1987, p. 100)). This use of such typical non-committal punctuation only proves the translator’s hesitation and uncertainty about the wording.

The differential treatment of one and the same term in the TT begs closer consideration. Thus, the translator is quite consistent in the terminological use of the word *привлекательность* in the stretches of text containing Ho-



garth's staple concepts, primarily where *grace* and *beauty* are opposed and juxtaposed (*excelled in grace and beauty* (Hogarth, 2010, p. 20); *grace and beauty are different things* (Ibid., p. 22), *the idea of grace* (Ibid., p. 45) etc.). In eight cases, however, *grace* is interpreted as *изящество* – изысканная, тонкая красота, грациозность, художественная соразмерность форм – refined beauty, artistic appropriateness of form (4). The *изящество* variant emerges in similar contexts to those of *привлекательность*: *adds greatness to grace* (Hogarth, 2010, p. 49), *that of grace and beauty* (Ibid., p. 63). As a close synonym of *грация*, *изящество* proves to be a very sensible solution as long as the visual dimension is foregrounded. In at least 12 contexts describing physical movements the straightforward (transliterated) borrowing *грация* is preferred in the TT (i.e.: *grace in action* (Ibid., p. 108); *the actress hath sufficient grace with fewer actions* (Ibid., p. 114); *the grace of the upper parts of the body* (Ibid., p. 110)). Not to mention a couple of omissions, there is one more translational variant *очарование* – действие чар, чарующая, обворожительная сила чего-нибудь – literally, “the enchanting power” (5). It occurs only three times in the TT; meanwhile, with its strong focus on the irresistible spellbinding force (which *привлекательность* is decidedly lacking), this variant seems to be a much more suitable translation solution for *grace* – and was used as such in the 1936 Russian edition of the treatise.

The objectification of a concept is the result of the author's subjective vision that undergoes further contemplation in the process of translation. The fact that the concept of *grace* earns its place in the comments is but one proof of its significance for the author's aesthetic thought. What is more, the commentator quite legitimately treats it as a term. However, the multi-faceted nature of the concept does not allow consistency in translation resisting the use of a 1:1 translation equivalent. Another reason for the differential treatment of the original term lies in the collocability of the word. As we can see, the concept of *grace* expands beyond its dictionary capacity in its philosophical-aesthetic interpretation, and this amplification is revealed in translation. Interpreting the term in four different ways, the translator reconceptualizes the original term by highlighting different facets of the concept and thus creating new knowledge. The necessity to explain the translational solution is caused by the cognitive dissonance inevitably occurring in the process of translating complex and crucial concepts: if it were a straightforward decision, the word would not have featured among comments.

4.2. *Je ne sçai quoi*

Fundamental to his philosophical aesthetics, the idea of *grace* as the staple of art and its miraculous power finds an alternative expression in the French phrase *Je ne sçai quoi* (contemporary form *Je ne sais quoi*) – an explicit admission that its nature is incomprehensible (Comment 12 in (Hogarth, 1987, p. 210). According to Hogarth, it was used at his time as a synonym of *grace*: “*Je ne sçai quoi*, is become a fashionable phrase for *grace*” (Hogarth, 2010, p. 44). As Alexeev spells out in his notes, the phrase was circulating widely as a term and as a *dernier cri* in arts (see Fig. 2).



Fig. 2. Currency of *Je ne sçai quoi* in Google Ngram Viewer (shown as spelt in the treatise)

Its popularity shows beyond any doubt that artists and critics were much preoccupied with the aesthetic comprehension of the elusive and indefinable ability of an art piece to keep the viewer enthralled. Resorting to a borrowing in authentic discourse is an effective cognitive tool to shroud the concept in mystery even more, on the one hand; on the other, it is the best way to effectively verbalise the incomprehensible and obscure. Interestingly, in the comment to the contemporary English edition of the *Analysis*, the phrase is translated into English in brackets: (I don't know what!) with exclamatory emphasis added (Hogarth, 2010, p. 9). In the Russian translation, the original phrase is always kept (accompanied by translation or not), thus asserting its terminological – and even emblematic – use. Unlike its synonym discussed above, the phrase is self-explanatory and requires no reconceptualization in the TT. It finds its place in the comments with illuminating purposes and as part of the author's terminological system. The reader of the TT and peritext is given a chance to enrich their aesthetic vocabulary and to expand the conceptual space of *grace* and *beauty* in terms of their enigmatic power of appeal.

4.3. *Sublime*

Another related concept the translator comments on is *sublime* – also a well-established 18th-century term of European aesthetics. It falls into the same category of the unfathomably mysterious: “The sublime part (...) is a real *Je ne sçai quoi*, or an uncountable something for most people...” (Hogarth, 2010, p. 25). A late 16th-century Latin borrowing (via French) into English (<https://www.etymonline.com/word/sublime>), the adjective is defined as: 1) lofty, grand, or exalted in thought, expression, or manner; 2) of outstanding spiritual, intellectual, or moral worth; 3) tending to inspire awe usually because of elevated quality (as of beauty, nobility, or grandeur) or transcendent excellence (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/sublime3>). The occurrence of the word was at its peak in Hogarth's time, which by itself testifies to the value of the term for the artistic philosophical thought (Fig. 3).



Fig. 3. Currency of *sublime* in Google Ngram Viewer

The commentator reminds us of the Greek predecessor of *sublime* — *ὕψος* (adj.) which was also used to express utmost reverential admiration and lofty spirits 1) inspiring awe; 2) worthy of adoration or reverence; 3) lifted up or set high; 4) of high moral or intellectual value; elevated in nature or style; 5) greatest or maximal in degree; extreme. The complexity of this concept projected into the sphere of visual arts translates into a challenge when it tries to find its way to a foreign intellectual space. Alexeev admits that the translation variant in the Russian TT is but an attempt to embrace the actual scope of the original concept (Hogarth, 1987, p. 225). The chosen translation variant *возвышенность* can be regarded as a compromise only, for this Russian word conveys the idea of highness and loftiness (both physical and spiritual), but does not cover that of grandeur, magnificence and awe-inspiring quality: for that, we would need the word *величественность* in Russian. However, word combinations with *возвышенность* and *величественность* (including derivatives) in the contexts related to art yield a dozen times more Google search hits for the former than for the latter, and Ngram Viewer does not respond to such word combinations with *величественность* at all. Such preference in use proves that, if apparently intuitive, the translator's choice of word was right. Nevertheless, the weight of the term in that epoch's artistic discourse and the translator's reflecting on it necessitate placing the word in the peritext to complete the picture of philosophical insights into the nature of the perception of art.

4.4. *Connoisseur*

A profound excursus into the *connoisseur* concept in Hogarth's time finds its place both in the Preface (Hogarth, 1987, pp. 28–29) and in the footnotes — Comment 14 in (Ibid., p. 211) and Comment 2 in (Ibid., p. 218). The French word *connoisseur* became part of the English language in the meaning of an art lover knowledgeable about European art criticism and capable of expressing his attitude to it. By far preceding the emergence of a specific term, the phenomenon of English connoisseurship “emerged within the broader



portmanteau of virtuoso culture” (Cowan, 2004, p. 154) – the culture of aesthetic appreciation of artworks. As part of artistic assessment idiom, the term *connoisseur* began to circulate after 1719 owing to the popular J. Richardson’ treatise on the advantages and necessity of a very special skill for a perfect gentleman. Hogarth was known to disdain the whole idea of connoisseurship: “Hogarth would wage against the connoisseurs and academic dictators of artistic good taste” (Ibid., p. 178). Discussing this concept at large in the ample peritextual space, Alexeev lays bare Hogarth’s explicitly negative attitude to the promoted new breed of an art lover who “is predominantly a layman claiming to be expert and unquestionable assessor of art” (Hogarth, 1987, p. 29). It is remarkable, however, how the translator treats the term in the TT and in the peritext.

To begin with, the word *connoisseur* was borrowed into Russian in two forms (9) – in its authentic French spelling and as a transliterated/transcribed loan word (spelt varyingly as *конессер* or *конэсер*). The existing Russian semantic counterparts (*знаток*, *любитель* = expert, authority, judge, pundit, art lover), if quite precise, are apparently too broad as they do not imply the idea of “belonging to the club” – and a specific one too; nor do they include the important component of appreciation. The borrowed words (in either form), however, have had a very limited currency in the Russian-language discourse, their use being restricted chiefly to the expertise in the spheres of arts and wines. As the Ngram Viewer percentage column shows, even at the point of entering the Russian language the word did not boast great circulation (Fig. 4).



Fig. 4. Currency of *конэсер* in Google Ngram Viewer

Drawing a very broad picture of connoisseurship in the 18th-century England in the Preface, Alexeev oscillates between the above-mentioned *знаток* and *любитель* as translation variants. The translator is fully aware of the fact that neither of them covers the whole concept but alternating them in the TT helps to make the portrait of the *connoisseur* more complete. However, when the scholar immerses in deliberating on Hogarth’s stance on the issue, he reveals the artist’s contempt for *connoisseurs* through the use of the borrowed variant *конессер* to give an alien ring to the concept itself. The bor-



rowing *конессер* occurs in the peritext in the contexts where Hogarth's views are related as if the commentator spoke on behalf of the artist: (Hogarth) 'denied them any taste'; 'they repeated ready-made assumptions'; 'were following fashion'; 'the authority of Italian masters meant more for them than their works'; 'one could slip them anything as a work of art, as long as it looks old enough'; 'Connoisseurs were mostly Italianates' (Hogarth, 1987, p. 29). To emphasise the derogatory use of the otherwise non-judgemental term the commentator accompanies it with a diminutive form of the Russian word *slovo* (word) – *slovechko*: "Новое словечко «конессер» (...) Хогарт (...) встретил в штыки." – Hogarth gave a hostile reception to the new term "connoisseur" (our transl.) (Ibid., p. 29). In Russian, diminutive derivatives carry either positive or negative connotations; here the word is used disparagingly.



Fig. 5. Currency of *connoisseur* in Google Ngram Viewer

In the only case where the word *connoisseur* is originally used in the negative context (*a middling connoisseur* (Hogarth, 2010, p. 22)) in the treatise, the borrowed variant is also used in the TT (посредственный конессер (Hogarth, 1987, p. 109)). For all other unbiased uses of the French term in Hogarth's original, the corresponding Russian word *знаток* is preferred as a translation variant. Not fully satisfied with the narrower than required scope of meaning of the translation variant, the translator sometimes hyphenates *знаток* with *ценитель* (*знаток-ценитель*) (Ibid., p. 119, 168) thus glossing the word with the sense "one who appreciates/values".

Another staple in the conceptual realm of arts, the concept *connoisseur* required clarification in the peritext for at least two reasons: to enlighten the reader on connoisseurship as a powerful movement of the epoch and Hogarth's specific attitude to it. This part of the commentary is of cultural and educational nature. Translation-wise, the commentator plays with the semantic near-equivalents and the borrowed word depending on the attitude displayed. The peritext, therefore, shows decision-making proceeds in translation, as well as the creativity of the decision-maker.



5. Conclusion

The purpose of this paper was to show how peritext can reveal the translator's mind at work in a philosophically engaging text. The analysis demonstrates that the lexical items chosen for commenting are crucial for defining the ideological pathways of the author; moreover, the very choice of such items for commenting shows that they made the translator stop and ponder over them before making a decision on how to translate them. Given the specific authorial tackling of meanings in philosophical writing, the translator needs to approach such concepts from different angles which often results in different verbalisations of one and the same concept. In the text under study, of special significance are the terms attempting to grasp the enigmatic elusiveness of the perception of art and the intellectual impact of the latter. If not directly, peritextual notes reflect the cognitive process of reconceptualising and verbalising of blurred concepts in philosophical discourse – in this particular case, the concepts epitomising the whole thrust of Hogarth's aesthetic ideology. Addressing the peritext and the translation helps to hypothesise about the translator's initial hesitation and uncertainty as well as about ultimate the resolution of cognitive dissonance. The analysis shows that translators of philosophy do not “have it easy” at all, for even when assimilated borrowings are readily available, they beg for adjustment and clarification. In this process of resolving this cognitive dissonance, the translator often needs to build a whole theory thus participating in knowledge-making through textual choices and asserting his/her creative identity. Translator as an agent with his/her individual position is capable of intellectual intervention best revealed in peritext tailored to increase the visibility of transformations. Thus translator's philosophical contribution is veritably ‘put on display’ (Ghosh, 2001, p. 60), and the hermeneutic effect of translator's cognitive struggle is made visible.

Another worthwhile consideration concerns the relations between the translator/commentator and the reader. Through peritext the reader is brought into the translator's “sacred fold”, and the boundaries between ‘us’ and ‘them’ are destroyed. The reader is invited to be part of this “discussion club”; they may agree or disagree with the comments and translational decisions, but once the issue is raised, we are entitled to know why this or that decision was made. In the end, the explanations given in the paratext inevitably influence the reader's perception of the text.

References

- Angelone, E., 2010. Uncertainty, Uncertainty Management, and Metacognitive Problem Solving in the Translation Task. In: G.M. Shreve and E. Angelone, eds. *Translation and Cognition*. Amsterdam, pp. 17–40.
- Avtonomova, N., 2020. Philosophy, Translation, “Untranslatability”: Cultural and Conceptual Aspects. In: D.M. Spitzer, ed. *Philosophy's Treason: Studies in Philosophy and Translation*. Wilmington, pp. 87–110.



Boyko, L., Chugueva, K. and Gulina, A., 2021. Peritext in the English-Russian Translation of William Hogarth's *Analysis of Beauty*: A Case Study. *Slovo. ru: Baltic Accent*, 12 (1), pp. 34-49.

Cassin, B., Apter, E., Lezra, J. and Wood, M. et al., 2014. *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*. Princeton; Oxford.

Cooper, J. and Carlsmith, K., 2001. Cognitive Dissonance. In N.J. Smelser and P.B. Baltes, eds. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Oxford: Elsevier Science Ltd. Available at: <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01802-7> [Accessed 10 October 2020].

Cowan, B., 2004. An Open Elite: The Peculiarities of Connoisseurship in Early Modern England. *Modern Intellectual History*, 1(2), pp. 151 – 183.

Crane, G.R., 1995. *Perseus Digital Library*. Available at: <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/> [Accessed 10 October 2020].

Deane-Cox, S., 2012. The Framing of a Belle Infidèle: Paratexts, Retranslations and Madame Bovary. *Essays in French Literature and Culture*, 49, pp. 79 – 96.

Festinger, L. A., 1957. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford.

Ghosh, P., 2001. Translation as a Conceptual Act. *Max Weber Studies*, 2(1), pp. 59 – 63.

Halverson, S.L., 2010. Cognitive Translation Studies: Developments in Theory and Method. In: G.M. Shreve and E. Angelone, eds. *Translation and Cognition*. Amsterdam, pp. 349 – 369.

Han, J.-M., 2005. On Annotation in Translation. In: E. Hung, ed. *Translation and Cultural Change*. John Benjamins Publishing Company, pp. 183 – 189.

Heller, L. and Payne, C., transl., 2019. Where does Philosophy Take Place in Translation? Reflections on the Relevance of Microstructural Translation Units within Philosophical Discourse. *Chronotopos – A Journal of Translation History*, 1 (1), pp. 147 – 172.

Hogarth, W., 1936. *Analiz krasoty* [Beauty analysis]. Translated by A. A. Sidorov. Moscow (in Russ.).

Hogarth, W., 1987. *Analiz krasoty* [Beauty analysis]. Translated by L. Melkova. Leningrad (in Russ.).

Hogarth, W., 2010. "To see with our own eyes": Hogarth between native empiricism and a theory of "beauty in form". William Hogarth: The analysis of beauty (London: Printed by John Reeves for the Author, 1753). *FONTES*. Available at: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/1217/1/Davis_Fontes52.pdf [Accessed 1 October 2020].

Lessing, G.E. 1853. Laokoön oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie. In: G.E. Lessing, ed. *Laocoon: An Essay on the Limits of Painting and Poetry*. The Johns Hopkins University Press.

Malukova, O., 2016. Contemporary Philosophical Discourse: Conceptualization of Traditional Notions "Technique and Technology". *Credo New*. Available at: http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/do4-2016 [Accessed 11 October 2020] (in Russ.).

Michel, J. B., Shen, Y. K., Aiden, A. P., Veres, A., Gray, M. K. and Pickett, J. P. et al., 2011. Quantitative analysis of culture using millions of digitized books (With Supporting Online Material). *Science*, 331(6014), pp. 176 – 182.

Minchenkov, A., 2019. Translating a Scientific Text into English: Cognitive Perspective. *The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*, 7(1), pp. 71 – 84.

Monk, S., 1944. A Grace Beyond the Reach of Art. *Journal of the History of Ideas*, 5 (2), pp. 131 – 150.



- Olohan, M. and Salama-Carr, M., 2011. Translating Science. *The Translator*, 17(2), pp. 179–188.
- Parks, G., 2004. The Translation of Philosophical Texts. *International Journal of Translation*, 8, pp. 1–10.
- Rée, J., 2001. The Translation of Philosophy. *New Literary History*, 32 (2), pp. 223–257.
- Ricoeur, P., 2004. *Sur la traduction*. Paris.
- Rozina, R. I., 1988. On the Comments. In: V. P. Grigoriev, ed. *Problemy strukturnoj lingvistiki 1984* [Issues of Structural Linguistics 1984]. Moscow, pp. 259–267 (in Russ.).
- Schögler, R., 2018. Translation in the Social Sciences and Humanities: Circulating and Canonizing Knowledge. *Alif Journal of Comparative Poetics*, 38, pp. 62–90.
- Shulga, E. N., 2002. *Kognitivnaya germenevtika* [Cognitive Hermeneutics]. Moscow (in Russ.).
- Voskoboinik, G. D. and Efimova, N. N., 2007. *Obshchaya kognitivnaya teoriya perevoda: kurs lektsii* [General cognitive theory of translation: a course of lectures]. Irkutsk (in Russ.).
- Whitehead, A. 2012. Moonless Moons and a Pretty Girl: Translating Ikkyū Sōjun. In: L. Foran, ed. *Translation and Philosophy*. Oxford ; Bern ; Berlin ; Bruxelles ; Frankfurt a/M ; N. Y. ; Wien, pp. 53–63.

List of Dictionary References

1. <https://www.etymonline.com/word/grace>
2. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/italian-english/grazia>
3. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/grace>
4. <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=20909>
5. <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=43972>
6. <https://www.etymonline.com/word/sublime>
7. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sublime>
8. [http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=u\(/yos](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=u(/yos)
9. http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm

The authors

Dr Lyudmila B. Boyko, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: boyko14@googlemail.com

Alexandra K. Gulina, Independent Researcher, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: s.gylina@gmail.com

To cite this article:

Boyko, L. B., Gulina, A. K. 2021, Translating philosophical aesthetics: Peritext as a window into the translator's mind, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 78–94. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-5.



ПЕРЕВОД ФИЛОСОФСКОЙ ЭСТЕТИКИ:
ПЕРИТЕКСТ КАК ОТРАЖЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПРОЦЕССА
ПЕРЕВОДА

Л. Б. Бойко¹, А. К. Гулина¹

¹ Балтийский федеральный университет им. И. Канта
236016, Россия, Калининград, ул. Александра Невского, 14
Поступила в редакцию 09.09.2020 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-5

Предоставление переводчику пространства для разъяснения принятых ключевых переводческих решений – отнюдь не широко распространенная практика, а скорее привилегия, которую получают лишь немногие переведенные тексты, в том числе философские. Сложность передачи философского дискурса на другой язык признают все, однако она до сих пор недостаточно изучена. В данной статье перевод философского текста рассматривается как процесс передачи знания из одного интеллектуального пространства в другое и создания нового знания в ходе реконцептуализации терминов. Этот процесс становится частично наблюдаемым в тех случаях, когда переводчику предоставляют площадку для экспликации принятых в ходе перевода решений в сопровождающих текст перевода комментариях и примечаниях, которые составляют особый массив дополнительной информации, получивший название «переводческий перитекст». В процессе перевода философских текстов особые сложности возникают при передаче терминов, которые автор иногда либо создает заново, либо присваивает новые значения уже существующим словам и выражениям. От переводчика требуется переосмысление таких терминов, что позволяет рассматривать перевод как эвристический процесс. В настоящей статье внимание сосредоточено на том, как разрешается возможный в таких случаях когнитивный диссонанс и как переводчик обосновывает свое переводческое решение, направленное на передачу смыслов при работе с такими ключевыми концептами, как «сopnoisseur», «grace», «sublime», и «je ne sçai quoi» в фундаментальном труде по философской эстетике «Анализ красоты» известного английского художника XVIII века Уильяма Хогарта.

Ключевые слова: перитекст, перевод, концепт, принятие решений, создание новых знаний, переводческий комментарий, философия

Список литературы

Воскобойник, Г. Д., Ефимова Н. Н. Общая когнитивная теория перевода : курс лекций. Иркутск, 2007.

Малюкова О. Современный философский дискурс: Концептуализация традиционных понятий «техника и технология» // Credo New. 2016. №4. URL: http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/do4-2016 (дата обращения: 11.10.2020).

Розина Р. И. О комментариях // Проблемы структурной лингвистики 1984. М., 1988. С. 259–267.

Хогарт У. Анализ красоты / пер с англ. А. А. Сидоров. М., 1936.

Хогарт У. Анализ красоты / пер. с англ. П. В. Мелкова. Л., 1987.

Шульга Е. Н. Когнитивная герменевтика. М., 2002.

Angelone E. Uncertainty, uncertainty management, and metacognitive problem solving in the translation task // Translation and Cognition / ed. by G. M. Shreve, E. Angelone. Amsterdam, 2010. P. 17–40.



Avtonomova N. Philosophy, Translation, "Untranslatability": Cultural and Conceptual Aspects // *Philosophy's Treason: Studies in Philosophy and Translation* / ed. by D.M. Spitzer. Wilmington, 2020. P. 87–110.

Boyko L., Chugueva K., Gulina A. Peritext in the English-Russian Translation of William Hogarth's *Analysis of Beauty: A Case Study* // *Slovo. ru: Baltic Accent*. 2021. Vol. 12, №1. P. 34–49.

Cassin B., Apter E., Lezra J., Wood M. et al. (eds.). *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*. Princeton ; Oxford, 2014.

Cooper J., Carlsmith K. Cognitive dissonance // *International encyclopedia of the social and behavioral sciences* / ed. by N.J. Smelser, P.B. Baltes. Oxford, 2001. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01802-7> (дата обращения: 10.10.2020).

Cowan B. An Open Elite: The Peculiarities of Connoisseurship in Early Modern England // *Modern Intellectual History*. 2004. Vol. 1, №2. P. 151–183.

Crane G.R. Perseus Digital Library. 1995. URL: <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/> (дата обращения: 10.10.2020).

Deane-Cox S. The framing of a belle infidèle: paratexts, retranslations and Madame Bovary // *Essays in French Literature and Culture*. 2012. Vol. 49. P. 79–96.

Festinger L. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford, 1957.

Ghosh P. Translation as a Conceptual Act // *Max Weber Studies*. 2001. Vol. 2, №1. P. 59–63.

Halverson S.L. Cognitive Translation Studies: Developments in Theory and Method // *Translation and Cognition* / ed. by G.M. Shreve, E. Angelone. Amsterdam, 2010. P. 349–369.

Han J.-M. On annotation in translation // *Translation and cultural change* / ed. by E. Hung. John Benjamins Publishing Company, 2005. P. 183–189.

Heller L., Payne C. (неп.). Where does philosophy take place in translation? Reflections on the relevance of microstructural translation units within philosophical discourse // *Chronotopos – A Journal of Translation History*. 2019. Vol. 1, №1. P. 147–172.

Hogarth W. «To see with our own eyes»: Hogarth between native empiricism and a theory of «beauty in form». *William Hogarth: The analysis of beauty* (London: Printed by John Reeves for the Author, 1753) // *Fontes*. 2010. №52. URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/1217/1/Davis_Fontes52.pdf (дата обращения: 01.10.2020).

Lessing G.E. *Laokoön oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie* // *Lessing G.E. Laocoon: An Essay on the Limits of Painting and Poetry*. L., 1853.

Michel J.B., Shen Y.K., Aiden A.P. et al. Quantitative analysis of culture using millions of digitized books (With Supporting Online Material) // *Science*. 2011. Vol. 331, №6014. P. 176–182.

Minchenkov A. Translating A Scientific Text into English: Cognitive Perspective // *The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*. 2019. Vol. 7, №1. P. 71–84.

Monk S. A Grace Beyond the Reach of Art // *Journal of the History of Ideas*. 1944. Vol. 5, №2. P. 131–150.

Olohan M., Salama-Carr M. Translating Science // *The Translator*. 2011. Vol. 17, №2. P. 179–188.

Parks G. The Translation of Philosophical Texts // *Rivista internazionale di tecnica della traduzione* // *International Journal of Translation*. 2004. Vol. 8. P. 1–10.

Rée J. The Translation of Philosophy // *New Literary History*. 2001. Vol. 32, №2. P. 223–257.

Ricoeur P. *Sur la traduction*. P., 2004.

Schögler R. Translation in the Social Sciences and Humanities: Circulating and Canonizing Knowledge // *Alif Journal of Comparative Poetics*. 2018. Vol. 38. P. 62–90.



Whitehead A. Moonless Moons and a Pretty Girl: Translating Ikkyū Sōjun // Translation and Philosophy / ed. by L. Foran. Oxford ; Bern ; Berlin ; Bruxelles ; Frankfurt a/M ; N. Y. ; Wien, 2012. P. 53 – 63.

Список использованных словарных статей

1. <https://www.etymonline.com/word/grace>
2. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/italian-english/grazia>
3. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/grace>
4. <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=20909>
5. <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=43972>
6. <https://www.etymonline.com/word/sublime>
7. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sublime>
8. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=u/yos>
9. http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm

Об авторах

Людмила Борисовна Бойко, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.
E-mail: boyko14@gmail.com

Александра Константиновна Гулина, независимый исследователь, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.
E-mail: s.gylina@gmail.com

Для цитирования:

Бойко Л.Б., Гулина А.К. Перевод философской эстетики: перитекст как отражение когнитивного процесса перевода // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 78 – 94. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-5.

TRANSLATION OF NEW SOCIOLOGICAL TERMINOLOGY: CHALLENGES AND SOLUTIONS

N. V. Runova¹, T. V. Furmenkova¹, N. Yu. Linevich¹

¹ Immanuel Kant Baltic Federal University
14 A. Nevskogo str., Kaliningrad, 236016, Russia
Submitted on September 19, 2020
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-6

Rapid development of concepts in modern sociology leads to the emergence of a large number of neological terms. Currently, the academic language of Russian sociology sees an active expansion of foreign language terminology and translated terms reflecting changes in the English-language social picture of the world. However, the lack of consistency in intra-lingual and inter-lingual translation of new terms may complicate the understanding of this terminology by representatives of multilingual academic schools. This study aims to analyse modern English sociological terms and translated borrowings in Russian, to explore their form and conceptual content in two languages, the degree of their conventionality in the scientific thesaurus of multilingual sociological schools and the possibility of an adequate transfer of terminological meaning from English into Russian. The authors view the sociological term as a cognitive, linguistic and cultural phenomenon, and study its synchronic and diachronic variability. The article is an attempt to illuminate the problem from a purely linguistic and translation point of view and to point out the need for combining efforts to systematise and harmonise the English and Russian terminologies of sociology.

Keywords: *sociological term, sociological concepts, sociological nomenclature, neologisms, translation*

1. Introduction

The rapid change in the social sphere and the sociological picture of the world is a characteristic feature of our time. Today we are witnessing the rapid development of the categorical-conceptual apparatus of sociology (Chernetsky, 2015), which is expressed in a constant increase in neological terms. According to statistics, a new direction in science may entail replenishment of the special vocabulary stock with at least one hundred new concepts. Against the background of “trends of accelerating and increasingly complex dynamics within Russian sociology” (Kravchenko, 2019, p. 34), there is a constant exchange and mutual enrichment of ideas between Russian and foreign (English-speaking) experts, which is accompanied by the active penetration of English terminology into the Russian terminological thesaurus. The emergence and consolidation of a new term in the recipient language is impossible without high-quality translation, which can provide adequate perception of the word by the language system through its speakers.



Over the past two decades, the systematization of new terminology has been carried out through compiling the dictionaries of the latest sociological terminology edited by S. A. Kravchenko (Kravchenko, 2000; 2002; 2003; 2004; 2011; 2012; 2013; Dictionary of the latest sociological terminology with English equivalents, 2019). A tremendous amount of work has been done to capture the new research tools: dictionary entries give an idea of the dynamics of the conceptual apparatus of sociology, reflect the nuances of the author-coined terms, describe the terms of disciplines related to sociology, and reveal terminological ambiguity. However, a number of problems still remain unresolved, among which the following can be highlighted: conceptual instability of terms, terminological synonymy, arbitrary variation of forms, sound dissonance of terms in the recipient language as a result of tracing, as well as obvious translation errors when transferring the conceptual content of the original term. The purpose of this study is to highlight these issues and offer recommendations for overcoming the challenges.

2. Conceptual and linguistic nature of a sociological term and its modern representation

The nature of the term as a special linguistic unit is a complex unity of language, cognition and communication (Cabré, 1999; Faber Benítez, 2009, p. 112–114). The linguistic understanding of the term proceeds from the idea that it is “given to us in the form of a unit of language”, which “is a natural linguistic substrate (basis) of the term” (Leichik, 2007, p. 27). The term is formalized and functions according to the laws of natural language. The cognitive component of a term is the content, scope and structure of the concept that it conveys. The close interaction of these two instances can be traced in the definitions of the term given by scholars of domestic and foreign terminological schools: “Term is a linguistic unit which conveys conceptual meaning within the framework of specialized knowledge texts” (Faber, Benítez, 2009, p. 112–114). “A term is a nominative special lexical unit (word or phrase), adopted for the exact naming of concepts” (Grinev-Grinevich, 2008, p. 30). The communicative aspect of a terminological unit is expressed in the fact that it is designed to record, accumulate and transmit professional information, to participate in creating texts of various communicative purposes (Leichik, 2007, p. 66–69; Sager, 1990, p. 99–128). In this sense, the terminology of different branches of knowledge has different specifics based on how close the connection of a particular science with related disciplines is, what is the dynamics of its development, and how open it is to interact with other scientific schools.

A specific feature of sociological discourse is the reflection of methodological pluralism: the application of various scientific approaches and the use of various scientific thesauri lead to the destruction of a single cognitive space, within which it is possible to achieve mutual understanding and adequate interpretation of new terminology. Moreover, “in Russian sociology, there is still no scientific language adequate for understanding and explaining Russian social specifics, which is why when studying it, many researchers are forced to use exclusively the language of Western academic science,



which was formed in a different cognitive environment for examining other sociocultural realities" (Lubsky, 2015, p. 131). Thus, cultural context is not only a defining feature of social science discourse, but also a source of cognitive dissonance within it.

Sociological terminology has the same contradictory character. On the one hand, the formed terminological core with its conventional uses testifies to the maturity of this terminology. On the other hand, it is a young system in its making, which is characterized by hypothetical terms, polysemy and synonymy, as well as terminological ambiguity, i.e. the lack of a consensus among experts on the definition of some concepts (Maikova, 2016, p. 172–173).

Many modern English terms recorded in the dictionaries of the new sociological vocabulary can be classified as terminoids, which are characterized by unstable conceptual content. This results in the inaccuracy of their meaning, contextual dependence, and often variation in form. According to S. V. Grinev-Grinevich, "terminoids are usually recorded in descriptive dictionaries indicating different points of view on their content" (Grinev-Grinevich, 2008, p. 44). Here is an example from "The Dictionary of the latest sociological terminology with English equivalents": *quantified self* – quantitative measurement of oneself – according to V. Mosco, opportunities for quantifying "self" is now almost ubiquitous... The term is sometimes used to simply account for a growing tendency to focus on quantifying bodily actions. It is also used in the dramatic meaning of reducing the amount of "I" to the amount that turns personal identity into something more than static reading due to qualitative, subjective and other non-quantifiable dimensions of life (Kravchenko, 2019, p. 42). This dictionary entry is characterized by a vague description, even if the dictionary is of an encyclopedic nature.

A special kind of terminoids are pre-terms, which name new, well-formed concepts, but they often do not meet the requirement of conciseness. An example of a descriptive pre-term is the following: *European Union as community of fate* – a metaphor used by A. Giddens to describe the current situation in the EU (Kravchenko, 2019, p. 34–35).

A huge layer of neologisms is represented by the author's coined terms, which is quite explicable: the newest concepts are introduced into scientific use by individual authors or by small groups of like-minded people. Such terms are called individual. According to V. M. Leichik, "as soon as the theory in which they appear becomes generally accepted, they become a social phenomenon. Otherwise, such terms remain occasional" (Leichik, 2007, p. 95). At this stage in the development of sociological terminology, they certainly fall into the category of author's occasional (coined) words that have some signs of terminoids. Their further consolidation in the terminology system depends on how well the theories behind them are accepted, which, as a rule, is revealed in diachrony. In the dictionaries by S. A. Kravchenko, "the introduction of new terms happens while the methodology and the quality of sociological thinking of its author is disclosed" (Kravchenko, 2019, p. 4). The list of these authors includes the prominent sociologists M. Castells, Z. Bauman, U. Beck, J. Urri, W. Vanderburg, J. Alexander, R. Braidotti, A. Giddens, H. Marcuse, V. Mosco, C. Perrow, E. Fromm, A. R. Radcliffe-Brown and many others. The terms *national network safety* and *network security*



(Kravchenko, 2011, p. 33) can serve as a clear example of the meaningful discrepancy of the term among different authors. The first term was originally introduced in Russian by S. A. Kravchenko, and then translated into English, the emergence of the second occurred in the reverse order. As a result, two practically identical terms appeared in the Russian language (*network security*) with a difference in one definition of “national”. However, their identity is manifested only in the linguistic shell. Conceptually, we have two different terms, the second of which, moreover, is polysemantic, i.e. internally splits into two meanings: 1) *national network safety* – according to S. A. Kravchenko, it is the state of protection of the country’s national interests, due to the functional self-sufficiency of each security link... 2) *network security* is, 1) according to J. Urri. Uri, is a security model based on social networks, allowing to identify those who are considered a source of threat; and 2) according to A. Crawford, it is a form of security relatively autonomous from national states, which is acquiring a global character. Thus, the concept “network” in the adjective “network” receives a completely different interpretation: in the first term it means the national security system with all its links (military-political, informational, social), and in the second – a social network, which, on the contrary, does not focus on much narrower national but rather on wider global interests. The coexistence of such lexemes, similar in form, but different in content, indicates a violation of certain requirements for the term: meaning-wise, it breaches the consistency of its semantics (here the lexical and terminological meanings confront to a certain extent), form-wise, it denies motivation, i.e. semantic transparency, which makes it possible to form an idea of the concept being transmitted. The elimination of such contradictions can be facilitated by the concept harmonization and the term harmonization within the framework of the standardization process, which can reduce or eliminate differences between concepts, as well as unify the form of their expression (see <http://docs.cntd.ru/document/1200104389>).

Another important feature of the terminology in sociology is a close connection with common vocabulary, the correlation in form with the words of everyday language. With all the apparent clarity of meaning, such lexical units tend to “increment” new author’s “immediate” meanings, developing a polysemy: *waste* – garbage, according to Z. Bauman, is the main product of the consumer lifestyle (Kravchenko, 2019, p. 65).

In general, the terminology of the social sciences and humanities can be characterized by the following features: it has a close connection with the terminology systems of related disciplines, it is marked with semantic branching, it lacks uniformity, unstable in meanings, it has some certain emotional and subjective-evaluative connotation, it depends on the context, it is stylistically marked, it has limited and inefficient forms (Bursina, 2014, p. 9).

2. Development of new Russian terms in translation

Translation of terms can be seen as a compromise activity at the intersection of translation and terminographic work (Cabr e, 1999, p. 115). In view of the interlingual asymmetry of terminological systems, translation of terms goes beyond the search for lexical equivalents and includes the stages of



terminographic work: analysis of the conceptual content of a term, definitions of terms, determining the degree of equivalence of conceptual systems and individual concepts within these systems (Achkasov, Kazakova, 2018, p. 104). However, a huge role in this process is assigned to the “technical” side of reproducing a term in another language, i.e. translation methods. The form in which the new lexical formation will appear in the target language largely determines its further functioning in the terminological system.

According to the standard specified in the Practical Guide to Social Terminology, neologisation takes three main vectors: “neologism defines a new term (unedited form), a new meaning of an already existing linguistic form or a term borrowed from another field of knowledge. In each language, neologisms are created according to their own rules, which must be followed” (<http://docs.cntd.ru/document/1200104389>). The academic style of the modern Russian language is characterized by a huge number of English-language borrowings due to the influx of new concepts and ideas. Some of them survive well through time and get fixed in the terminological system. According to S.N. Mayorova-Shcheglova, those that meet specific requirements will best take root in the language of sociology. The requirements include laconic form, use of Russian word-building elements (prefixes, suffixes), the absence of negative meaningful associations from other spheres of life, ease of pronunciation, the presence of complete or partial Russian equivalents (Mayorova-Shcheglova, 2011, p. 100–101). All this can serve as a guide for the creation of new sociological terms in translation.

The analysis of dictionaries of the new sociological terms revealed a wide variety of ways English terms transfer into Russian. Translation-wise, they can be divided into literal and functional translation. Among the methods of literal translation, transcription and transliteration take a significant place: (Eng.) **downshifting** – (Rus.) **дауншифтинг** (*daunshifting*), (Eng.) **domicide** – (Rus.) **домицид** (*domicid*) (Kravchenko, 2011, p. 92; 2019, p. 32). At the same time, a tendency towards variability of the phonetic forms of the term is noted, which indicates the unstable behavior of the borrowed terminology in Russian context. Thus, the term **tribalism** has two phonovariants – (Rus.) **трибализм** (*tribalizm*) и **трайбализм** (*traibalizm*) (Kravchenko, 2019, p. 121). Of course, this is explained by the fact that the source for the majority of the new terminological units are articles and reports of sociological fora and the latest foreign works on sociology, which have not had time to get tested by time for successful survival. (The most striking example of such a tendency, borrowed from Wikipedia, can serve as five (!) Russian variants of the English term **survivalism** – **сурвивализм** (*survivalizm*), **сервайвализм** (*servaivalizm*), **сурвайвализм** (*survaivalizm*), **выживализм** (*vyzhivalizm*), **выживальничество** (*vyzhival'nichestvo*). Such variants are called ‘complex’, because they include phonetic, grammatical and lexical variations (the latter are called ‘multilingual doublets’). These discrepancies in terms of the expression of new terms, as well as the tendency to include redundant variants in the dictionary reflecting the occasional use of foreign language terms, can cause significant difficulties in the work of a translator using such dictionaries. The final choice of the variant should result from active analytical work.



Another common way of introducing translated Russian sociological terms is full and partial tracing: (Eng.) **kentavr-problem** – (Rus.) **кентавр-проблема** (*kentavr-problema*) (Kravchenko, 2011, p. 147). It seems not entirely natural for the target language to use incorporation tracing – the formation of complex compound lexemes with hyphenated spelling: (Eng.) **self-as-player** – (Rus.) **самоидентификация-как-игрока** (*samoidentifikacija-kak-igroka*); **self-as-performer** – **самоидентификация-как-исполнителя** (*samoidentifikacija-kak-isponitelja*); **self-as-character** – **самоидентификация-как-характер** (*samoidentifikacija-kak-harakter*) (Kravchenko, 2011, p. 147). Such constructions are more often used by modern Russian-speaking authors in fiction as a stylistic device, but they are perceived by the Russian-speaking community as a foreign element. It would be more natural to leave them without a hyphen.

Functional translation is presented in the following ways: a) full equivalents: **path dependence** – **зависимость от колеи** (*zavisimost' ot kolei*) (Kravchenko, 2011, p. 116); b) partial equivalents: **healthism** – **здоровая жизнь** (*zdrovajaia zhizn'*) (Kravchenko, 2011, p. 114); c) lexical addition: **throwaway society** – **общество одноразовых/выбрасываемых предметов** (*obshchestvo odnorazovyh/vybrasyvaemyh predmetov*) (Kravchenko, 2011, p. 224); d) functional analogue: **folk theories** – **спонтанная социология** (*spontannaja sociologija*) (Kravchenko, 2004, p. 311); e) modulation: **culture accumulation** – **культурное обогащение** (*kul'turnoje obogashchenije*) (Kravchenko, 2004, p. 248). There are also hybrid terms formed as a result of mixed types of translation: **simulmatics** – **модельматика** (*model'matika*) – equivalent and transliteration (Kravchenko, 2011, p. 197).

Foreign language borrowings entail deviations from the grammatical norms of the Russian language. In the English academic language of sociology, especially in the author's terminology, there is a tendency to use abstract plural nouns, which is traced in Russian: **silences** – **молчания** (*molchanija*), **mobilities** – **мобильности** (*mobil'nosti*), **risk-solidarities** – **риск-солидарности** (*risk-solidarnosti*) (Kravchenko, 2011, p. 195, 201, 282). Rendering some English abstract nouns violates one of the pragmatic requirements for the term, i.e. its euphony. As a result, such Russian terms can number up to seven syllables and contain several difficult to pronounce consonants in a row: **governmentality** – **гавернментальность** (*gavernmental'nost'*) (cf. also derivatives of **гавернментальное общество** (*gavernmental'noje obshchestvo*), **гавернментальная рациональность** (*gavernmental'naja racional'nost'*), **informational city** – **информациональный город** (*informacional'nyj gorod*) (Kravchenko, 2011, p. 64, 220, 269, 81). The euphony of the term also lies in the fact that it should not evoke unwanted associations, such as **mondialisation** – **мондиализация** (*mondializacija*) (Kravchenko, 2011, p. 201) or **heroinism** – **героинизм/героиномания** (*geroinizm/geroinomanija*) (Kravchenko, 2004, p. 75). The latter term means "adoration of heroes" and "cult of heroes of the past", but it has a strong association with drugs in the Russian translation. In such dialexemes, there is an interlingual asymmetry of the content plane, which consists in the mismatch of the volume of meanings, stylistic, emotional-evaluative connotations, in various denotative correlations, etc. This linguistic phenomenon is also known in translation theory under the name of "false friends of the translator."



The analyzed group of terms can also include an environmental term which has entered the usage. Its incorporation into the language of sociology is evidenced by its systematic and derivational ability: **environmentology** – **инвайронментология** (*invaironmentologija*), **environpolitics** – **инвайронментальная политика** (*invaironmental'naja politika*), **paleoenvironment** – **палеинвайронмент** (*paleinvaironment*) (Kravchenko, 2004, p. 136, 297, 273). However, being fixed in the Russian language, it still shows variability of form: in the 2019 dictionary (Kravchenko, 2014, p. 12), the term *environmental refugees* is used without one letter "n" (the same tendency is observed in sociological Internet articles). Initially, when creating these terms in Russian, it should have been better to turn to a more laconic root "eco".

4. Terminological synonymy: good or evil?

Synonymy in terms is one of the most urgent issues in terminology and is associated with the redundancy of a concept naming means (Grinev-Grinevich, 2008, p. 102). According to the researcher, the terminological synonym and the variant are similar in the sense that they serve to name one concept, therefore, synonymy and variability can be considered as equivalent concepts.

The analysis showed that terminological synonymy develops in two ways: 1) several Russian equivalents correspond to one English term (**reciprocity** – **реципрокация/реципрокность** (*reciprokacija/reciproknost'*)) and vice versa: 2) several English synonyms are translated into one Russian equivalent (**negationism/negativism/nihilism** – **нигилизм** (*nigilizm*)). As part of our research, we will touch upon the problem of synonymy only in Russian terminology. So, most examples are morphological variants of the source English term: **participatory demography** – **партиципаторная демократия** (*participatornaja demokratija*) (complete tracing of a foreign language suffix), **партиципативная демократия** (*participationaja demokratija*) (half tracing with a Russian suffix – iv) (Kravchenko, 2004, p. 98). In modern academic discourse, several more variants of this adjective are actively used, with the replacement of the Russian voiceless hard (ц) (*ts*), followed by (ы) (*y*), by a softer (palatalized) consonant (с) – **партиципаторный** и **партиципаторный** (*participativnyj/participatornyj*). Thus, in diachrony, there is not a reduction in the morphovariants of the term, but their obvious increase. It should be noted that in terms of content, they are absolute synonyms. Such an inconsistent picture indicates the absence of a centralized terminological work to streamline the terminology of sociology.

Among other variants of terms, some quite natural for the Russian language can be found: **decentring** – **децентризм/ацентризм** (*decentrizm/acentrizm*) (Kravchenko, 2011, p. 99), where there is a variability of Latin prefixes, which are equivalent and productive in the Russian language; as well as multilingual doublets such as dissemination – **рассеивание/диссеминация**, the simultaneous use of which is quite acceptable.

All of the above assumes that synonymy hinders the construction of a coherent system of concepts in the sociological branch, therefore, its abolition is a striving for the unity of the interpretation of basic concepts. Even



when trying to normalize the emerging terminology, i.e. fixation in the system of terminoids, it is necessary to avoid their variability, so as not to seriously damage the development of this field of knowledge.

5. Transformation of translated terms in diachronic aspect

An analysis of the dictionaries of the new sociological terminology made it possible to trace how the form and meaning of borrowings changed over a decade, i.e. follow their diachronic variation. Rita Temmerman, in particular, focuses it in her work, and connects the lack of uniqueness of the term with the development of concepts and categories, because most of them have a flexible intension and extension (Temmerman, 2000, p. 130). Diachronic analysis is also important because “when developing terminology, it should be possible to revise the selected options and adjust the implemented terminology depending on the reaction of target users and, as a rule, taking into account the evolution of word usage” (<http://docs.cntd.ru/document/1200104389>).

The diachronic variability of the terms of sociology is expressed in two planes: the plane of content and the plane of expressing concepts. The change in the conceptual content of the term occurs through the development of polysemy – mainly, the expansion of meaning. A striking example is the term *alcoholism*, the former meanings of which are (1) a chronic disease caused by alcohol abuse; 2) social anomie, expressed in massive alcohol abuse; 3) personal and behavioral characteristics of an individual who abuses alcohol (Kravchenko, 2004, p. 22). Recently a narrow author-coined meaning was added defining “the deformation of social time with the effect the past that is slipping away, suspending the present, experiencing the future as the future accomplished” (Kravchenko, 2011, p. 16). The concept of **underclass**, which is transliterated into Russian as **андеркласс** (*anderklass*), has also expanded strongly in author's interpretation: cf. one definition in the dictionary of 2004 (a discriminated ethnic group compactly living in the ghetto – (Kravchenko, 2004, p. 29)) versus six author's definitions in the dictionary of 2019 (Kravchenko, 2019, p. 8–9). This term is distinguished by the instability of meaning at the present stage of development: in the definition, the authors (both Russian and foreign) point to various reasons for the development of such a social class (adherence to certain value orientations, discrimination in relation to integration into society, failure to perform a function in the social whole, behavior, social passivity and negative self-identification). These blurred boundaries between the author's definitions certifies to the need for both intra-lingual and inter-lingual unification of such terms.

The formal expression of some terms in the Russian language has undergone no less significant changes. The form developed along two main vectors: simplification and complication. A more compact form was achieved in different ways: 1) the transition from descriptive translation to tracing: **phatic communication** – **коммуникация ради общения** (*komunikacija radi obshchenija*) – ‘communication for the sake of communication) (Kravchenko, 2004, p. 169) – **фатическая коммуникация** (*faticheska-*



ja komunikacija); 2) the transition from a descriptive translation to a full equivalent: **available population** (Kravchenko, 2004, p. 233) – **наличное население** (*nalichnoje naselenije*); 3) restructuring of the syntactic structure of the statement: **midlife crisis** – **кризис в середине жизни** (*krizis v seredine zhizni*) – ‘crisis in the middle of life (Kravchenko, 2004, p. 184) – **кризис среднего возраста** (*krizis srednego vozrasta*). It is also interesting to note the phenomenon of “domestication” of foreign terms in the process of development, which is quite rare for the modern Russian language as a transition from a borrowed form to a more natural Russian equivalent: **light pollution** – **световая поллюция** (*svetovaja pollucija*) (Kravchenko, 2004, p. 299) – **световое загрязнение** (*svetovoje zagrjaznenije*). In this case, it is explained by the persistent association of the word “pollution” with the physiological male phenomenon among the speakers of the Russian language. As for the complication of the form, it was noted only in terms that were initially dissonant and acquired a more natural sound: **twenty-statements test** – **двадцатиответный тест** (*dvadcatiotvetnyj test*) (Kravchenko, 2004, p. 444) – **тест двадцати высказываний** (*test dvadcati vyskazyvanij*).

Thus, these examples clearly showed the main trends in the development of the formal-meaningful structure of sociological terms, which are to be taken into account while systematizing terminology.

6. Translation Challenges

Apart from formal interpretation of the meaning, the main problem of translating the term lies in the adequate transmission of its conceptual content in the recipient language. The American sociologist Immanuel Wallerstein in his work "Concepts in the Social Sciences: Problems of Translation" outlined the basic postulates of the interlanguage transmission of sociological concepts: “In order to translate a concept well, the translator must know (a) the degree to which any concept is in fact shared (and by whom), both at the time of writing and at the time of translation, and (b) the variations of sharing-communities in each of the two languages. The translator should also be able to infer the author’s perception of the degree of sharing – that is, whether or not he is aware of or willing to acknowledge the legitimacy of debate over the concept itself” (Wallerstein, 1981, p. 88–98).

The analysis found a number of translation errors in the dictionaries of the new sociological terminology. So, the translation of the term **dataism** as **репрессия** (*repressija*) – ‘suppression seems to be quite controversial and unfounded (Kravchenko, 2019, p. 98). The term was first used by David Brooks in 2013 in The New York Times to describe the thinking or philosophy created by the new understanding of big data. In 2016, Yuval Noah Harari in his book “Homo Deus. A Brief History of Tomorrow” expanded this term by calling it an ideology or even a new form of religion in which “information flow” is the “highest value”. The conceptual content of the terms “**репрессия**” (*repressija*) – ‘suppression and “**dataism**” clearly do not coincide. In this regard, the transliterated version of “datatism” seems to be legitimate by analogy with the names of religions formed with the suffix -ism. Moreover, it can be considered quite well-established in the Russian lan-



guage, as indicated by its active use (see, for example, Yu. Kalenkov "Who professes datatism, and how robots became priests" (<https://te-st.ru/2019/11/20/who-professes-datatism-and-how-robots-became-priests>) and derivational ability: datatist – a person preaching datatism.

Another example of a bad translation, in our opinion, is **touring poverty** – **бедность в контексте туризма** (*bednost' v kontekste turizma*) – 'poverty in the context of tourism – which is defined as a type of tourism that invites visitors to examine the living conditions of poor peoples (Kravchenko, 2019, p. 12). First, "poverty" cannot be viewed as a type of tourism (violation of the definition of the superordinate concept). Secondly, the Russian term does not convey the completeness of a foreign language concept. To understand all this, let's turn to the term "slum tourism", which has been known for a long time. It was first mentioned by the Oxford English Dictionary in 1884, describing the desire of wealthy Londoners to visit poor neighborhoods such as Whitechapel to entertain themselves by contemplating the lives of poor fellow citizens and imbuing with the spirit of the "real" city, its lower classes. At the end of the 19th century, the same phenomenon, described by the same term, was noted in the United States, where citizens with a fulfilled American dream began to get interested in how "others" live. Later, the phenomenon was noted in many other countries, embedded in international tourism, when travelers chose to visit the poorest neighborhoods of the third world countries as their main vacation entertainment. In the 1980s, black South Africans began arranging tours to poor districts of cities for their white fellow citizens and tourists, demonstrating poverty and terrible living conditions there. Such tours attracted a large number of foreign tourists who could personally get acquainted with such a phenomenon as apartheid. Of course, slum tourism itself has been openly criticized because it "turned poverty into entertainment," but the fact that, as an economic activity, it provided poor communities with jobs and some souvenir income should not be forgotten.

The term "touring poverty" was actively explored in G. Sarmiento's work "Touring Poverty", where the author refers to this growing phenomenon and analyzes its manifestations in the context of different countries. The Russian-language equivalent of the term sounds like "бедность в контексте туризма", which in itself hardly reflects the multidimensionality of this phenomenon. The definition for the term states that residents of these areas not only introduce tourists to everyday life, but also "produce material souvenirs and demonstration practices of poverty," while the main content of the term remains undisclosed. In our opinion, the "slum tourism" option would be the best choice, since in it the conceptual focus is shifted to the standard of living in the places visited by tourists, and not to poverty as an element of the "context" of tourism.

No less controversial is the term **hypermodern society**, which is defined in the dictionary of sociological terms in 2011 as a **гипермодное общество** (*gipermodnoje obshchestvo*) (Kravchenko, 2011, p. 221). A corpus analysis of both terms in English and Russian shows that their content is quite different. In English, hypermodern is, rather, something ultramodern, reflecting the high level of development in the modern society (compare Kravchenko,



2011, p. 226) the term postmodern society and its translation **постсовременное общество** (*postsovremennoje obschestvo*). It is technology and various media that give the development of society a hyper-speed and a hyper-character, making social contacts more and more intense. The main function of such a society is hyper-consumption, which captures more and more new spheres of public life, pushing each member of society to consume for their own pleasure, and not only in order to raise their social status. Hedonism and pleasure become the main guidelines, freeing from stereotypes, but, at the same time, depriving confidence in a certain value system: "And the hypermodern individual, while oriented towards pleasure and hedonism, is also filled with the kind of tension and anxiety that comes from living in a world which has been stripped of tradition and which faces an uncertain future. Individuals are gnawed by anxiety; fear has superimposed itself on their pleasures, and anguish on their liberation. Everything worries and alarms them, and there are no longer any beliefs systems to which they can turn for assurance. These are hypermodern times." (Lipovetsky, 2005).

The term included in the 2019's dictionary sounds like a "гипермодное" ("hyper-fashionable") society, which actualizes a completely different aspect of meaning – the tendency of society to acquire fashionable things and demonstrate its knowledge of the level of fashion development (for example, the modern concepts of "hyper-fashionable stylist", "hyper-fashionable area" have nothing to do with the rate of society development or its innovative nature).

Thus, we can conclude that the term **гипермодный** (*gipermodnyj*), given by the dictionary of new sociological terms as an equivalent to the term *hypermodern*, does not coincide with it in its actualized meaning and cannot be considered acceptable.

Conclusion

The current stage in the development of sociological terminology is characterized by its flexibility and growth both conceptually and systemically. Fixing new concepts in a language and transferring them in another language results in a number of issues. The analysis showed that modern dictionaries of new sociological terminology fix terms characterized by conceptual and linguistic instability (variability). This instability is reflected in the translated versions of terms in the Russian language, which is expressed in the variability of forms and the distortion of the conceptual content of the original term.

To systematize terms in sociology and to avoid mistakes in the creation of new terms in the Russian language, it is necessary to collaborate with sociologists, terminologists and professional translators. At the initial stage, it can focus on normalizing the emerging terminology in order to streamline the system of new, emerging concepts. In the future, this activity should become centralized and systematic, include such aspects of terminological planning as the development, improvement (harmonization of terms and concepts) and the introduction of new terminology into the subject area of Russian sociology.



References

Achkasov, A. and Kazakova, T., 2018. Terminology translation as a palliative concept. *Philological studies. Theoretical and practical issues*, 7–1 (85), pp. 102–106 (in Russ.).

Bursina, O., 2014. *Terminologiya sotsial'noi raboty: struktura, semantika i funktsionirovanie (na materiale angloyazychnoi literatury dlya sotsial'nykh rabotnikov)* [Terminology of social work: structure, semantics and functioning (the case of English-language publications for social workers)]. Ph. D. Saint Petersburg (in Russ.).

Cabré, M.T., 1999. *Terminology: theory, methods, and applications*. Amsterdam ; Philadelphia.

Chernetskii, Yu., 2015. Development of the system of basic sociological concepts in the late XX – early XXI centuries. *Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing* [Sociology: theory, methodology, marketing], 2, pp. 96–111 (in Russ.).

Faber Benítez, P., 2009. Cognitive shift in terminology and specialized translation. In: A. Vidal and J. Franco, eds. *Monographs in Translation and Interpreting. A (Self-) Critical Perspective of Translation Theories*. pp. 107–143.

Grinev-Grinevich, S., 2008. *Terminovedenie* [Terminological studies]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2002. *Sociologicheskij enciklopedicheskij anglo-russkij slovar'* [Sociological encyclopedic English-Russian dictionary]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2002. *Sociologicheskij enciklopedicheskij anglo-russkij slovar'* [Sociological encyclopedic English-Russian dictionary for special purposes]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2003. *Sociologicheskij enciklopedicheskij anglo-russkij slovar'* [Sociological encyclopedic English-Russian dictionary for beginners: 7 dictionaries]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2004. *Sociologicheskij enciklopedicheskij anglo-russkij slovar'* [Sociological encyclopedic English-Russian dictionary. More than 10000 entries]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2011. *Slovar' novejshej sociologicheskoy leksiki: teorii, ponyatiya, personalii (s anglijskimi ekvivalentami)* [Dictionary of the latest sociological terminology: theories, concepts, personalities (with English equivalents)]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2012. *Sociologicheskij tolkovyj anglo-russkij slovar'* [Sociological English-Russian dictionary]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2013. *Sociologicheskij tolkovyj russko-anglijskij slovar'* [Sociological Russian-English dictionary]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S.A., 2019. The Complicated Dynamics of Russian Sociology: Effects of the “Vector of Time”. *Gumanitarii yuga Rossii* [Humanitarians of the South of Russia], 8(1), pp. 33–55 (in Russ.).

Kravchenko, S.A., ed., 2019. *Slovar' novejshej sociologicheskoy leksiki s anglijskimi ekvivalentami* [Dictionary of the latest sociological terminology with English equivalents]. Moscow (in Russ.).

Kravchenko, S., 2000. *The Encyclopedic English-Russian Sociological Dictionary*. Lewiston, New York.

Leichik, V., 2007. *Terminovedenie: predmet, metody, struktura* [Terminology: subject, methodology, structure]. Vol. 3. Moscow (in Russ.).

Lipovetsky, G., 2005. *Hypermodern Times*. Cambridge.

Lubskii, A., 2015. The specificity of sociological discourse in Russia. *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya* [Social and humanitarian knowledge], 9, pp. 128–135 (in Russ.).



Maikova, T., 2016. The main criteria for selecting terminological vocabulary in the development of a lexicographic model of the English-language sociological terminology. *RUDN Bulletin, series Theory of language, Semiotics, Semantics*, 2, pp. 165–174 (in Russ.).

Maiorova-Shcheglova, S., 2011. *Sotsiologicheskij tezaurus: problema zaimstvovaniy i neologizmov* [Sociological thesaurus: the problem of borrowings and neologisms]. Available at: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/10/21/1267240311/Maiorova.pdf> [Accessed 15 September 2020] (in Russ.).

Nacional'nyj standart Rossijskoj Federacii. Prakticheskoe rukovodstvo po socioterminologii [National standard of the Russian Federation. Practical guidelines for socio-terminology]. GOST P 55140-2012. ISO/TR 22134:2007 IDT. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/1200104389> [Accessed 28 September 2020] (in Russ.).

Sager, J., 1990. *A Practical Course in Terminology Processing*. Amsterdam.

Temmerman, R., 2000. *Towards New Ways of Terminology Description: The Socio-cognitive Approach*. Amsterdam.

Wallerstein, I., 1981. Concepts in the social sciences: Problems of translation. In: M. Rose, ed. *Translation Spectrum: Essays in Theory and Practice*. Albany.

The authors

Dr Natalia V. Runova, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: NRunova@kantiana.ru

Dr Tatiana V. Furmenkova, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: TFurmenkova@kantiana.ru

Natalia Yu. Linevich, Senior Lecturer, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: NLinevich@kantiana.ru

To cite this article:

Runova, N. V., Furmenkova, T. V., Linevich, N. Yu. 2021, Translation of new sociological terminology: challenges and solutions, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 95–109. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-6.

ПЕРЕВОД НОВОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Н. В. Рунова¹, Т. В. Фурменкова¹, Н. Ю. Линевич¹

¹ Балтийский федеральный университет им. И. Канта
236016, Россия, Калининград, ул. Александра Невского, 14
Поступила в редакцию 19.09.2020 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-6

Стремительное развитие понятийного аппарата современной социологии приводит к появлению большого числа неологических терминов. В настоящее время в научном языке российской социологии наблюдается активная экспансия иноязычной терминологии и создание переводных терминов, отражающих изменения в англоязычной



социальной картине мира. Однако нехватка качественной переводной литературы и отсутствие внутриязыковой и межъязыковой унификации новых терминов негативно сказываются на взаимопонимании представителей разноязычных научных школ. Целью данного исследования является анализ современных английских социологических терминов и переводных заимствований в русском языке с точки зрения их формы и концептуального содержания в двух языках, степени их закреплённости в научном тезаурусе разноязычных социологических школ и возможности адекватной передачи терминологического значения с английского языка на русский. Социологический термин рассматривается как когнитивный, лингвистический и культурный феномен, анализируется его синхроническая и диахроническая вариативность. Предпринята попытка осветить проблему с сугубо лингвистической и переводческой точек зрения и указать на необходимость объединить усилия по систематизации и гармонизации англоязычной и русскоязычной терминологий социологии.

Ключевые слова: социологический термин, социологический концепт, терминологическая система социологии, неологизм, перевод

Список литературы

Ачкасов А.В., Казакова Т.А. «Перевод» терминов как паллиативное понятие // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. №7—1 (85). С. 102—106.

Бурсина О.А. Терминология социальной работы: структура, семантика и функционирование (на материале англоязычной литературы для социальных работников) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2014.

Гринев-Гриневиц С.В. Терминоведение. М., 2008.

Кравченко С.А. Социологический энциклопедический англо-русский словарь. М., 2002.

Кравченко С.А. Социологический энциклопедический англо-русский словарь // Англо-русский, русско-английский словарь для профессионалов: 17 словарей. М., 2002 (электронная версия).

Кравченко С.А. Социологический энциклопедический англо-русский словарь // Англо-русский, русско-английский словарь для начинающих: 7 словарей. М., 2003 (электронная версия).

Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. М., 2004.

Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). М., 2011.

Кравченко С.А. Социологический толковый англо-русский словарь. М., 2012.

Кравченко С.А. Социологический толковый русско-английский словарь. М., 2013.

Кравченко С.А. Усложняющаяся динамика российской социологии: эффекты «стрелы времени» // Гуманитарий юга России. 2019. Т. 8, №1. С. 33—55.

Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2007.

Лубский А.В. Специфика социологического дискурса в России // Социально-гуманитарные знания. 2015. №9. С. 128—135.

Майкова Т.А. Основные критерии отбора терминологической лексики при разработке лексикографической модели англоязычной терминологии социологии // Вестник РУДН. Сер.: Теория языка, Семиотика, Семантика. 2016. №2. С. 165—174.

Майорова-Щеглова С.Н. Социологический тезаурус: проблема заимствований и неологизмов. 2011. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/10/21/1267240311/Maiorova.pdf> (дата обращения: 15.09.2020).



Национальный стандарт Российской Федерации. Практическое руководство по социотерминологии. ГОСТ Р 55140-2012. ISO/TR 22134:2007 Practical guidelines for socioterminology, IDT. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200104389> (дата обращения: 28.09.2020).

Словарь новейшей социологической лексики с английскими эквивалентами / под общ. ред. С. А. Кравченко. М., 2019.

Чернецкий Ю. А. Развитие системы основных понятий социологии в конце XX – начале XXI веков // Социология: теория, методы, маркетинг. 2015. №2. С. 96 – 111.

Cabré M. Terminology: theory, methods, and applications. Amsterdam ; Philadelphia, 1999.

Faber Benítez P. Cognitive shift in terminology and specialized translation // A (Self-) Critical Perspective of Translation Theories / ed. by A. Vidal, J. Franco. 2009. P. 107 – 143.

Kravchenko S. The Encyclopedic English-Russian Sociological Dictionary. N. Y., 2000.

Lipovetsky G. Hypermodern Times. Cambridge, 2005.

Sager C. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam, 1990.

Temmerman R. Towards New Ways of Terminology Description: The Sociocognitive Approach. Amsterdam, 2000.

Wallerstein I. Concepts in the social sciences: Problems of translation // Translation Spectrum: Essays in Theory and Practice / ed. M. Gaddis Rose. Albany, 1981. P. 88 – 98.

Об авторах

Наталья Васильевна Рунова, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: NRunova@kantiana.ru

Татьяна Владимировна Фурменкова, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: TFurmenkova@kantiana.ru

Наталья Юрьевна Линевич, старший преподаватель, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: NLinevich@kantiana.ru

Для цитирования:

Рунова Н. В., Фурменкова Т. В., Линевич Н. Ю. Перевод новой социологической терминологии: проблемы и решения // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 95 – 109. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-6.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ: НОВОЕ В БОЛГАРОВЕДЕНИИ

П. Легурска

Рец. на кн.: Веселинов Д., Ангелова А. Речник на френските думи в българския език : в шест тома. — София : Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2015–2017. — ХЛІ + 3296 с.

Предмет нашего рассмотрения — *Словарь французских слов в болгарском языке*, выпущенный в издательстве Софийского университета Климента Охридского в шести томах в 2015–2017 гг. (т. 1: А–В, 2015, ХЛІ, 509 с.; т. 2: Г–Й, 2015, 531 с.; т. 3: К–Л, 2016, 425 с.; т. 4: М–П, 2016, 662 с.; т. 5: Р–Т, 2017, 617 с.; т. 6: У–Я, 2017, 552 с.). Авторы — Димитр Веселинов и Анна Ангелова.

Чем вызвано появление словаря? Со времен Карла Великого имя франков стало нарицательным для обозначения всего европейского Запада. В Средневековой Болгарии именем *фржзи* называли все народы «латинской» веры. В других славянских языках тоже встречаются *фряжское* серебро, *фряские* вина, *фружская* церковь. С крестовыми походами этот термин распространился далеко на Восток, и вплоть до XVII века в Османской империи и Иране словом *Франгистан* обозначали всю Западную Европу. В современной Индии любой европеец — *фиранг*. В новые времена контакты между Востоком и Западом становятся более интенсивными. В турецком языке все связанное с Францией уже обозначается словом *frenk*. Но Франция по-прежнему олицетворяла всю Европу. Болгары, жившие в пределах Османской империи, называли портных, занимающихся пошивом европейской одежды, *френк-терзиями* (терзия — *болг.-тур. стар.* 'швец, кравец'). В столичном Галата-сарайском лицее обучение велось на французском, и его выпускники, выдающиеся болгары Тодор Каблешков, Константин Величков, Стоян Михайловски, Симеон Радев, владели в совершенстве французским языком. Под влиянием турецкого произношения в болгарском утверждаются слова *френски* и *френец*. Именно такие формы мы находим в литературе XIX века. Например, болгарский поэт П. Р. Славейков пишет: *Немци, френци, англичани / наши са враждебници, / дружни с нашите тиранни, / с нашите изедници*. Позже жителей Франции стали обозначать словом *французи*. При этом язык не называли «*французки*» — прилагательное осталось по-прежнему *френски*. В XIX веке связь болгар с Европой осуществлялась преимущественно через посредство французского языка, игравшего первостепенную роль в культурном обмене.

© Легурска П., 2021



К моменту создания словаря не было комплексного описания распространения, адаптации и функционирования французской лексики в болгарском языке. В культурном пространстве Болгарии первым инициатором изучения болгарской и французской лексики в XIX веке был Иван Богоров. В 1960-х годах Любомир Ванков и в 1970-х Павел Патеv проводят первые масштабные исследования французской лексики в болгарском языке. Ими же намечена идея о необходимости каталогизации¹ французских заимствований в болгарском языке.

В русской традиции французские заимствования обозначаются как галлицизмы ввиду неблагозвучия термина «француизм». В болгарском языке такой проблемы не существует, и в книге «Французская лексика в романе “Табак”» Д. Веселинов вводит термин *френцизм* в значении «слово, заимствованное из французского языка». В понимании автора *френцизм* – это «лексическая или фразеологическая единица, вошедшая в болгарское культурное пространство из французского языка или через французское посредство; французское заимствование, заимствование из французского языка». «Френцизмом» может быть и неологизм, возникший на французской почве из элементов иностранного или смешанного происхождения (Веселинов, 2009, с. 8).

Помимо этого термина, Д. Веселинов ввел и другую лингвистическую терминологию, необходимую для анализа французских заимствований в болгарском языке. Она присутствует во введении к словарю (Веселинов, 2015) и в его докторской диссертации (Веселинов, 2016). Одним из основных понятий, созданных Д. Веселиновым, – эмпрунтология, наука о языковых трансферах. Это понятие обосновывается новым прочтением вопроса о заимствованиях в болгарском языке (Веселинов, 2015, с. 13, 22).

В рецензии на Словарь (Бояджиев, 2016, с. 110) Т. Бояджиев отмечает, что французские заимствования рассматриваются не только как результат языкового контакта, но и как закономерное языковое и культурное явление, как *конструкт*, который можно теоретизировать и концептуализировать в качестве конструктивного элемента болгарской национальной психики. Влияние французского языка расширяет болгарское духовное пространство новыми понятиями, идеями и терминами в области науки, материальной и духовной культуры.

К изучению французских заимствований можно применить три подхода: филологический, энциклопедический и *метаурусный* (Веселинов, 2015, с. 12). По мнению автора, два первых подхода обладают толковательной функцией, обеспечивающей надежное объяснение лексического значения слов иностранного происхождения. У третьего подхода, применяемого в словаре, функция *фиксаторская*. Она осуществляет документирование основных зарегистрированных употреблений с необходимым иллюстративным материалом.

¹ В русской лингвистике термин введен А. А. Зализняк (2001), в болгарской – П. Легурской (2012) применительно к разным типам лексики.



Словарь представляет собой каталог галлицизмов в болгарском языке, составленный по определенным параметрам. Содержание этих параметров разворачивается ступенчато во введении к словарю. Словник составлен на базе таких разнообразных источников, как лексикографические; тексты оригинальных произведений болгарских авторов; переводы с французского на болгарский; переводы нефранкоязычных авторов на болгарский; тексты периодической печати; архивные источники; материалы интернет-сайтов и форумов.

На базе этих источников составлен словник словаря как макрорамка. В качестве микрорамки рассматривается словарная статья (Веселинов, 2015, с. 14). В ней содержатся следующие зоны: происхождение и история слова, толкование, примеры употребления, степень интегрированности слова в болгарском языке, развитие формы слова. Посредством такой информации в словарной статье осуществляется *кумулятивный* подход. Таким образом, словарь является своего рода историко-этимологическим *тезаурусом* систематического лексикографического документирования и интерпретации галлицизмов.

Концепция словаря покоится на идее франкоязычного влияния на формирование болгарского словарного фонда, а тезаурсная модель обогащается в теоретико-прикладном плане с точки зрения франко-болгарской эмпрунтологии — заимствования и трансферирования лексических единиц и элементов. Такая конструкция позволяет произвести *инвентаризацию* франкоязычной лексики в болгарском культурном пространстве, что в болгароведении осуществляется впервые.

Вводимые понятия способствуют выяснению теоретических принципов исследования, реализуемых в детально разработанных определениях (Веселинов, 2015, с. 20): кумулятивность, хронологичность, этимологичность, историчность и иллюстративность. Перечисленные принципы являются основой осуществления синхронного и диахронного подхода к фактам лексики, а это, следует отметить, разные аспекты исследовательских поисков.

Кумулятивность как общий лексикографический принцип представляет собой заполнение отдельных зон словарной статьи адекватной и в хронологическом порядке подобранной информацией. Галлицизмы в болгарском языке представлены в виде тезауруса. Этот подход гарантирует максимально полную регистрацию и документирование французских заимствований в болгарском языковом пространстве в отрыве от времени заимствования, продолжительности употребления и функционирования в системе болгарского языка. Принцип кумулятивности осуществляется путем составления исчерпывающего *перечня* галлицизмов на материале разных источников. В этом состоит *кумулятивность словника* (Веселинов, 2015, с. 20). *Толковательная кумулятивность* осуществляется посредством эксцерпирования словарных *дефиниций*, представительных для истории соответствующих лексических единиц словаря. Эксцерпирование характерных *употреблений* галлицизмов в разные исторические периоды определяется как узуальная



кумулятивность. Автор выделяет также словообразовательную кумулятивность — варианты написания (орфографическая кумулятивность) и разные варианты оформления слов (собственно словообразовательная кумулятивность).

Думается, что с точки зрения языковой личности — нефранкофона, галлицизмы словника можно разделить на узнаваемые и неузнаваемые. В русской лексикографической традиции (Морковкин, Морковкина, 1997) не узнаваемые рядовым носителем языка слова называются *агнонимами*. Такое разделение слов основывается на том, что в языковом сознании носителя языка существуют две зоны — темная и светлая. Функционирование лингвоментального процесса по его осям (мышление, сознание и язык) выступает как самоорганизующаяся информационная система, действующая на базе человеческого мозга и обеспечивающая понимание, оценку, сохранение, преобразование и передачу языковой информации. В количественном и качественном отношении формирование корпуса определяется координатами антропоцентрического лексикографирования и, в частности, комплексным словарным описанием единиц названных двух типов.

Термин *картина мира*, используемый в XIX—XX веках как исследовательская метафора, позволяет переформулировать результаты познания и определяет сам способ познания. В книге «Русские агнонимы: слова, которые мы не знаем» картина мира определяется как информационно организованное целое, которым обладает человек и которое обусловлено способом созерцания, ощущения, восприятия, понимания, осмысления, переживания и объяснения мира и себя в нем. В понятии содержатся правила реакции на разные проявления жизни и поведенческие запреты, принятые в данном обществе. Таким образом, языковая картина становится этнической формой сохранения содержательных компонентов, и они перегруппируются и перемещаются в темную сторону сознания (содержащую неузнаваемые единицы в данный синхронный момент) или же, наоборот, — в светлую сторону, где хранятся узнаваемые единицы (Морковкин, Морковкина, 1997, с. 50).

С этой точки зрения в картине языковой личности существует несколько типов знания: знание врожденное; знание, полученное в результате практической деятельности; извлеченное из текстов; выработанное в процессе мышления; знание, внушенное родным языком. Таким образом, картина мира является в равной степени концептуальной и языковой.

Последние рассуждения перекликаются с понятием принципа *хронологичности*, отраженного в Словаре. Им описывается учет хронологической последовательности представления эксцерпированного материала с тем, чтобы создать точное представление о периоде фиксации конкретных исследуемых фактов (Веселинов, 2015, с. 21). В словарной статье обособляются графические варианты (орфографическая хронология), словоупотребления (хронология узуса), словарные толкования (хронология семантики). В связи с этим возникает необходимость изме-



нения и обновления метаязыка, связанного с процессом трансферирования языковых единиц, понимаемого как контактологическое языковое развитие в целом и как результат контактологического накопления.

Таким образом, в Словаре применен мотивированный подбор лексикографических источников с тем, чтобы достоверно раскрыть пережитие и распространение галлицизмов в болгарском языке.

Принцип *этимологичности*, о котором говорит автор введения к словарю, переопределен следующим образом: систематическое представление развития словоформ конкретного этимона, через которые проходит данный галлицизм, чтобы дойти до той формы, в которой входит в болгарское языковое пространство. Это определение показывает динамику процесса трансфера и является индикатором не только происхождения, но и процессов становления французской и болгарской орфографических норм (Веселинов, 2015, с. 21). Этимологичность в таком понимании предполагает выделение как восходящей последовательности (графические варианты от возникновения лексемы во французском и по сей день), так и нисходящей (связь актуальной словоформы с исконной первоформой французской лексической единицы в галло-романском, латинском и галльском языковом пространстве или в языковом пространстве языка-источника). Развитие графических вариантов в болгарском языковом пространстве прослеживается особо (Ibid.).

Научная метафора *картина мира* наряду с принципом этимологичности включает также принцип историчности, понимаемый как сохранение языковым сознанием относительного единства данного языкового состояния на протяжении определенного времени. В словаре историчность определяется как датировка семантических изменений в процессе вхождения соответствующего галлицизма в болгарское языковое пространство. В то же время прослеживается история значения французского этимона, отраженного в болгарском заимствовании (Веселинов, 2015, с. 22). Лексикографическое описание отражает структуру и детальное представление информации. Таким образом иллюстрируется путь, который проходит французский этимон от исходного до актуального значения в современном французском языке. Это дает возможность актуализовать те семантические компоненты, которые существенны при заимствовании слова болгарским языком.

Иллюстративность словаря заключается в приведении примеров из словарей, печатных текстов и электронных источников в разные исторические периоды, которые демонстрируют степень употребительности слова. Так прослеживается динамика, движение слова из языка в язык или же его перемещение в разные слои болгарского языка (Веселинов, 2015, с. 22).

Употребление ряда галлицизмов знакомо только изучающим французский язык. В словаре посредством иллюстративных примеров дается алгоритм правильного употребления слова и нефранкофонами. В этом смысле словарная статья носит не только иллюстративный, но и обучающий характер.



Для осуществления вышеупомянутых принципов в словаре используются традиционные лексико-семантические и сопоставительные технологии. В понимании Д. Веселинова, через ступени эмпрунтологической биографии отдельного галлицизма просвечивают общезыковые процессы и тенденции языковых изменений. Ведущий тезаурусно-кумулятивный метод сочетает портретирование, описание биографии и документацию соответствующего галлицизма. Таким образом строится кумулятивный историко-этимологический корпус. Авторы определяют словарь как толково-алфавитный альбом хронологически упорядоченных портретов галлицизмов, составляющих эмпрунтологическую биография слова (Веселинов, 2015, с. 23). Галлицизмы в болгарском языке являются носителями элитарности, модернизма, образованности и евроцентризма.

Димитр Веселинов и Анна Ангелова посвятили пятнадцать лет своей научной карьеры созданию этого словаря. В нем зафиксировано 6000 французских слов, перешедших в болгарский язык за последние восемь столетий. Конечный продукт явился результатом обработки 30 000 лексикографических карточек, содержащих более 250 000 примеров реального словоупотребления. Словарь является наиболее полным алфавитным каталогом французских заимствований в болгарском языке. Более того, словарь создает возможность тематического переформатирования и представления информации в виде базы данных, которые стали бы основой компьютерной модификации.

Следует отметить, что словарь одинаково необходим как для франкофонов, так и для тех носителей болгарского языка, которые не владеют французским. Содержание словаря вызывает интерес широкой аудитории, стремящейся к ознакомлению с французским и болгарским лингвокультурным пространством.

Особо следует подчеркнуть совершенствование метаязыка языковой контактологии в связи с языковыми трансферами и с введением новых терминов и понятий.

Словник словаря, несомненно, — исчерпывающий и в то же время подобранный сбалансированно с точки зрения представительности, целесообразности, частотности, надежности и непротиворечивости лексических единиц, извлеченных из широкого круга текстов разного стиля — художественного, публицистического, научного.

Оригинальная структура и дизайн словарной статьи отвечают требованиям современной теоретической лексикографии и удачно адаптированы к предмету настоящего словаря.

В заключение следует отметить самоотдачу авторов этого колоссального труда, посвятивших свои исследовательские поиски исключительно важной теме нашей современности — роли французского языка в сегодняшней социокультурной ситуации.

Список литературы

Бояджиев Т. (Рец. за книгата) Д. Веселинов, А. Ангелова. Речник на френските думи в българския език в шест тома. Том 1, А-В, Том 2 Г-Й. София, Университетско издателство, 2015. 508 + 531 с. // Съпоставително езикознание. 2016. Кн. 1. С. 109–113.



Веселинов Д. Френската лексика в романа «Тютюн». София, 2009.

Веселинов Д. Теоретични основи на «Речник на френските думи в българския език» // Веселинов Д., Ангелова А. Речник на френските думи в българския език : в 6 т. София, 2015. Т. 1. С. V—XXXVI.

Веселинов Д. Теоретичен модел за кумулативно лексикографиране на думи от чужд произход в българския език. София, 2016.

Зализняк А. А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. 2001. №2. С. 13—25.

Легурска П. Семантически системи на езиците и начини за тяхното каталогизиране (за съпоставителни цели) // 70 години българска академична лексикография. София, 2012. С. 355—365.

Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы: слова, которые мы не знаем. М., 1997.

Об авторе

Палмира Легурска, кандидат филологических наук, доцент, Институт болгарского языка им. проф. Любомира Андрейчина, Болгарская академия наук, Болгария.

E-mail: palmiralegurska@abv.bg

Для цитирования:

Легурска П. Рец. на кн.: Веселинов Д., Ангелова А. Речник на френските думи в българския език в шест тома // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 110—117. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-7.

References

Boyadzhiev, T., 2016. D. Veselinov, A. Angelova. Dictionary of French words in the Bulgarian language in six volumes. Volume 1, A-B, Volume 2. Sofia, University Publishing House, 2015. 508 + 531 p. *Sopostavitelnoe iazykoznanie* [Comparative Linguistics], 1, pp. 109—113 (in Bulgarian).

Legurska, P., 2013. Semantic Systems of Languages and Ways of their Cataloging (for Comparative Purposes). In: M. Drinov, ed. *70 godini balgarska akademichna leksikografija* [70 years of Bulgarian academic lexicography]. Sofia (in Bulgarian).

Morkovkin, V. V. and Morkovkina, A. V., 1997. *Russkie agnomy: Slova, kotorye my ne znam* [Russian Agnonyms: Words We Don't Know]. Moscow (in Russ.).

Vesselinov, D., 2009. *Frenskata leksika v romana „Tyutyun“* [The Words of French Origin in the Novel "Tobacco"]. Sofia (in Bulgarian).

Vesselinov, D., 2015. Theoretical Foundations of the Dictionary of French Words in the Bulgarian Language. In: D. Vesselinov and A. Angelova., eds. *Rechnik na frenskite dumi v balgarskiya ezik v shest toma* [Dictionary of French Words in the Bulgarian Language in Six Volumes]. Vol. 1. Sofia, pp. 5—37 (in Bulgarian).

Vesselinov, D., 2016. *Teoretichen model za kumulativno leksikografirane na dumi ot chuzhd proizvod v balgarskiya ezik* [Theoretical model for cumulative lexicography of words of foreign origin in the Bulgarian language]. Sofia (in Bulgarian).

Zalizniak, A. A., 2001. Semantic derivation in synchronicity and diachrony: the project "Catalog of semantic transitions". *Voprosy iazykoznaniiia* [Questions of linguistics], 2, pp. 13—25 (in Russ.).



The author

Dr Palmira Legurska, Associate Professor, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria.

E-mail: palmiralegurska@abv.bg

To cite this article:

Legurska, P. 2021, Book review: Veselinov D., Angelova A. Речник на френските думи в българския език в шест тома, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 110 – 117. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-7.

М. Йорданова

Рец. на кн.: *Sprachwissenschaftliche Perspektiven der Bulgaristik. Standpunkte – Innovationen – Herausforderungen* / M. Henzelmann (Hg.). – Berlin : Frank & Timme, 2020. – 342 S. (Slawistik, Bd. 8).

Рецензируемый сборник включает материалы нескольких исследований по болгароведению. Основное внимание в нем уделяется лингвистике. Составителем стал немецкий славист Мартин Хенцельманн, который хорошо известен в Болгарии благодаря своему вкладу в исследование болгарского языка и культуры. Так, он изучал южнородопские говоры по обеим сторонам греко-болгарской границы. Хенцельманн был одним из немногих зарубежных славистов, которые аргументированно отклонили теорию о существовании в Греции так называемого помакского литературного микроязыка. Хенцельманн также очень активно работает в Германии. Об этом свидетельствует и настоящий сборник, изданный в честь профессора Гельмута Шаллера. Шаллер является почетным доктором Софийского университета имени святого Климента Охридского, он – один из наиболее заслуженных болгаристов в немецкой славистике за последние десятилетия. Сборник открывается обзорной статьей Зигрун Комати, представляющей жизненный путь профессора и описывающей его вклад в развитие международного сотрудничества. В статье представлены многочисленные исследовательские проекты Шаллера в области болгароведения, славистики и балканологии.

В первой научно-исследовательской статье, принадлежащей перу Стефки Георгиевой и Светланы Шулежковой, рассматривается проблема фразеологических инноваций в болгарском и русском языках в условиях глобализации. Проводится сравнительный анализ примеров инноваций в глобальном контексте, где важным элементом являются не только социальные и политические, но и бытовые проблемы (с. 21–38). В статье Дональда Дайера анализируется компьютерный перевод текстов, при этом отмечается, что в настоящее время компьютерные переводы всё еще не работают достаточно качественно (с. 39–59). Обращаясь к истории Болгарии, Теде Кал исследует вопросы обмена знаний и культуры в Османской Болгарии, обращается также к особенностям сосуществования болгар, сефардов и турков на одной территории. Большое внимание посвящено вопросам взаимного влияния в сферах торговли, печати и войск (с. 61–78). В статье американского лингвиста Алексис Манастер Рамер по этимологии с высокой степенью точности проанализированы многочисленные исторические словари с целью



выявления сходств и различий между ними (с. 79–124). Языковое развитие находится в центре внимания также и в материале Зои Барболовой. В ее статье проведен обширный анализ уменьшительных существительных с турецкой основой в болгарском языке. Все ее примеры показывают стабильную адаптацию заимствований и их ассимиляцию. Этим объясняется также, почему многие тюркизмы в болгарском языке воспринимаются как домашние (с. 125–154). Составитель рецензируемого сборника Мартин Хенцельманн в своей статье исследует явления языковой гибридности в болгарском языке. Автор фокусирует внимание на элементах, заимствованных из русского, турецкого и французского языков. Они были интегрированы в болгарский язык весьма различными способами. Хенцельманн также выделяет ряд инноваций в области калькирования (с. 155–181).

Особенно важным представляется то, что авторы сборника придают особое внимание болгарским языковым островкам за пределами нашей страны. Известно, что болгароязычные меньшинства в разных странах живут в весьма отличающихся условиях. Приведенные случаи используются для того, чтобы изучить, каким образом различные сочетания тех или иных факторов влияют на восприятие родного языка и бытовой культуры. Вопросы многоязычия также играют здесь центральную роль, поскольку Балканский полуостров является чрезвычайно неоднородным культурным ландшафтом, где множество различных этнических групп и языков пересекаются на небольшой территории. Существование меньшинств следует рассматривать в значительной степени в зависимости от законодательства государства их проживания, а также принимая во внимание, какие отношения этого государства со своими соседями и какой исторический опыт оно переносит на настоящее. Маринела Младенова пишет об условиях, в которых живут болгары в Банате в Румынии, объясняя подходы к кодификации банатско-болгарской литературной нормы и ее перспективы (с. 183–214). Далее Клаус Штейнке описывает, каким путем развивается болгарская литературная норма в Банате в контексте глобализации и массового использования Интернета. Штейнке ищет ответ на вопрос, как небольшая изолированная языковая община отвечает на вызовы времени и находит интересные примеры, так как банатско-болгарское общество активно пользуется Интернетом (с. 215–235).

Вместе с тем ситуация в Банате сильно отличается от ситуации в Буджаке в Украине, где наблюдается совершенно иное состояние межязыковых контактов. В то время как венгерский и румынский языки, находящиеся за пределами славянской семьи, являются важными контактными языками в Банате, то на говоры болгарского меньшинства в Украине влияют два славянских языка – украинский и русский. Мало что известно и о некоторых деревнях, в которых проживает болгарское меньшинство в украинском Буджаке. Так, Иван Илиев объясняет происхождение населения в поселках Лощиновка и Суворово (Украинска Бессарабия) и их говоров. Илиев приходит к выводу, что как местный



диалект, так и некоторые культурно-исторические особенности местного населения говорят о том, что нельзя исключать первоначальной иммиграции местного населения из болгарского региона Ельхово (с. 237–300). В заключительной статье сборника Валентина Колесник описывает диагностирующие черты болгарских переселенческих говоров в Украине, уделяя особое внимание ольшанскому, чушмелийскому и чийшийскому типам говоров. Наблюдается процесс значительной дебалканизации данных говоров, о чем свидетельствует противоположная тенденция в современном болгарском литературном языке (с. 301–335).

В сборнике рассматриваются также различные аспекты той реальности, в которой существует болгарский язык сегодня. Вопреки тенденции в Западной Европе, к сожалению, часто неблагоприятной для болгаристов, изложенные в данном сборнике материалы показывают, что болгароведение активно развивается. В частности, выделяются два ключевых момента, на которых базируется юбилейный сборник: во-первых, это всестороннее освещение хорошо известных тем, их исследование и анализ в новом контексте. Сюда входят вопросы противопоставления языка и культурных контактов, а также развития фразеологических понятий в славистике. Во-вторых, это документирование языковой ситуации болгароязычных общин за пределами страны, описание условий, в которых развивается их культура. Эти общины гораздо реже оказываются в центре внимания, чем сама Болгария, поэтому приятно удивляет то значительное место, которое уделено им в рецензируемом труде. Это свидетельствует о разнообразии болгарского языка в контексте Юго-Восточной Европы. Данный труд, сочетающий как диахронический, так и синхронный подход, представляет собой весомый вклад в болгароведение. В нем подробно рассматриваются актуальные вопросы болгароведения, критически комментируются вопросы современного языкознания и культурологии, изучается их европейский контекст, приводятся ценные результаты экспертиз международных специалистов.

Об авторе

Милена Йорданова, кандидат филологических наук, доцент, Софийский университет им. Святого Климента Охридского, Болгария.

E-mail: m.yordanova@uni-sofia.bg

Для цитирования:

Йорданова М. Рец. на кн.: Sprachwissenschaftliche Perspektiven der Bulgaristik. Standpunkte – Innovationen – Herausforderungen / М. Henzelmann (Hg.) // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 118–121. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-8.



The author

Dr Milena Yordanova, Associate Professor, Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria.

E-mail: m.yordanova@uni-sofia.bg

To cite this article:

Yordanova, M. 2021, Book review: Sprachwissenschaftliche Perspektiven der Bulgaristik. Standpunkte – Innovationen – Herausforderungen / M. Henzelmann (Hg.), *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 118 – 121. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-8.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «СЛОВО.РУ: БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ»

Правила публикации статей в журнале

1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы, а также соответствовать правилам оформления.

2. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях. При отправке рукописи в редакцию журнала автор автоматически принимает на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично без согласия редакции.

3. Рекомендованный объем статьи – до 1,5 п. л.; научного сообщения – до 0,5 п. л. (включая заглавие, аннотацию, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках).

4. Все присланные в редакцию рукописи проходят двойное «слепое» рецензирование, а также проверку по системе «Антиплагиат», по результатам чего принимается решение о возможности включения статьи в журнал. Уровень оригинальности авторских материалов по данным системы «Антиплагиат» должен составлять не менее 80 % (с учетом оформленного цитирования и самоцитирования).

5. Плата за публикацию рукописей не взимается.

6. Для рассмотрения редакционной коллегией статья может быть отправлена по электронной почте главному редактору либо ответственному редактору журнала. Также статья может быть подана на рассмотрение через электронную форму на сайте Единой редакции научных журналов БФУ им. И. Канта: <http://journals.kantiana.ru/>

7. Решение о публикации (доработке, отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения.

Комплектность и форма представления авторских материалов

1. Статья должна содержать следующие элементы:

- индекс УДК, который должен достаточно подробно отражать тематику статьи (основные правила индексирования по УДК см.: <http://www.naukapro.ru/metod.htm>);

- название статьи строчными буквами на русском и английском языках;
- аннотацию на русском и summary на английском языке (200–250 слов); аннотация располагается перед ключевыми словами после заглавия, summary – после статьи перед references;

- ключевые слова на русском и английском языках (4–10 слов); располагаются перед текстом после аннотации;

- список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5.-2008, и references на латинице (Harvard System of Referencing Guide);

- сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках (Ф. И. О. полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, e-mail, контактный телефон, почтовый адрес места работы).

2. Оформление списка литературы.

- Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5.-2008, приводится в конце статьи в алфавитном порядке без нумерации. Сначала перечисляются источники на русском языке, затем – на иностранных языках.

Если в списке литературы есть несколько публикаций одного автора одного года издания, то рядом с годом издания каждого источника ставятся буквы *a*, *b* и др. Например:

Брюшинкин В. Н. Взаимодействие формальной и трансцендентальной логики // Кантовский сборник. 2006. №26. С. 148 – 167.

Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Сочинения : в 8 т. М., 1994а. Т. 4.

Кант И. Метафизические начала естествознания // Сочинения : в 8 т. М., 1994б. Т. 4.

Howell R. Kant's Transcendental Deduction: An Analysis of Main Themes in His Critical Philosophy. Dordrecht ; Boston ; L., 1992.

- Источники, опубликованные в интернет-изданиях или размещенные на интернет-ресурсах, должны содержать точный электронный адрес и обязательно дату обращения к источнику (в круглых скобках) по образцу:

Walton D. A. Reply to R. Kimball. URL: www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf (дата обращения: 09.11.2009).

3. Оформление references.

В английский блок статьи необходимо добавить список литературы на латинице (references), оформленный по требованиям *Harvard System of Referencing Guide*: сначала дается автор, затем год издания. В отличие от списка литературы, где авторы выделяются курсивом, в references курсивом выделяется название книги (журнала). В квадратных скобках дается перевод на английский язык названия указанного источника, если он издан не на латинице. Например:

Книга на кириллице: Borisov, K. G. 1988, *Mehanizm pravovogo regulirovanija processa internacionalizacii mnogostoronnih nauchno-tehnicheskikh sojazej v sovremennoj vseobshnej sisteme gosudarstvo* [The mechanism of legal regulation of the internationalization process of multilateral scientific and technical relations in the modern system of universal], Moscow, 363 p.

Книга на латинице: Keohane, R. 2002, *Power and Interdependence in a Partially Globalized World*, New York, Routledge.

Журнальная статья на кириллице: Dezhina, I. G. 2010, Menjajushhiesja priority mezhdunarodnogo nauchno-tehnologicheskogo sotrudnichestva Rossii [Changing priorities of international scientific and technological cooperation between Russia], *Ekonomicheskaja politika* [Economic policy], no. 5, pp. 143–155, available at: www.iep.ru/files/text/policy/2010_5/dezgina.pdf (accessed 08 April 2013).

Журнальная статья на латинице: Johanson, J., Vahlne, J.-E. 2003, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, *Journal of International Entrepreneurship*, no. 1, pp. 83–101.

Более подробно с правилами составления references можно ознакомиться на сайте: libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

4. Оформление ссылок на литературу в тексте.

- Ссылки на литературу в тексте даются в круглых скобках: автор или название источника из списка литературы и через запятую год и (для цитаты) номер страницы: (Кант, 1994а, с. 197) или (Howell, 1992, p. 297).

- Ссылка на многотомное издание: автор или название источника из списка литературы, затем через запятую год, номер тома и номер страницы: (Шопенгауэр, 2001, т. 3, с. 22).

5. Предоставленные для публикации материалы, не отвечающие вышеизложенным требованиям, в печать не принимаются, не редактируются и не рецензируются.

Общие правила оформления текста

Авторские материалы должны быть подготовлены *в электронной форме* в формате А4 (210 × 297 мм).

Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в формате *doc* и *docx* (Microsoft Office).

Подробная информация о правилах оформления текста, в том числе таблиц, рисунков, ссылок и списка литературы, размещена на сайте Единой редакции научных журналов БФУ им. И. Канта: <https://journals.kantiana.ru/journals/slovoru/pravila-oformleniya/>

Порядок рецензирования рукописей

1. Все рукописи, поступившие в редколлегию, проходят двойное «слепое» рецензирование.

2. Главный редактор журнала определяет соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.

3. Сроки рецензирования определяются с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.

4. В рецензии устанавливается:

а) соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме;

б) насколько статья соответствует современным достижениям научно-теоретической мысли в данной области;

в) доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул;

г) целесообразна ли публикация статьи с учетом имеющейся по данному вопросу литературы;

д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором;

е) рекомендуется (с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков) или не рекомендуется статья к публикации в журнале.

5. Текст рецензии направляется автору по электронной почте.

6. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, главный редактор журнала направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляется на рецензирование.

7. Статья, не рекомендованная к публикации хотя бы одним из рецензентов, к повторному рассмотрению не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычной почтой.

8. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией.

9. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации ответственный редактор информирует об этом автора и указывает сроки публикации.

10. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение пяти лет.

SLOVO.RU: THE BALTIC ACCENT JOURNAL

Guide for authors

1. The journal welcomes relevant and novel contributions. Articles submitted should include problem formulation, results, and conclusions and comply with the guide requirements.

2. Submitted materials should be original and not published elsewhere. Upon submitting an article to the journal, the author undertakes not to publish the article elsewhere, in whole or in part, without consent from the editorial board of the journal.

3. The recommended length of an article is 40,000 characters and that of a report is 20,000 characters with spaces, abstracts, keywords, and references in Russian and English.

4. All submitted contributions are subject to double-blind peer review and plagiarism scanning. The acceptable similarity index is below 20%.

5. There is no charge for publication.

6. To be considered by the editorial board, contributions are submitted via e-mail to the editor-in-chief or the publishing editor. Alternatively, authors can use the submission form on the IKBFU Journals website at <http://journals.kantiana.ru/>

7. The decision on the acceptance, improvement, or rejection of articles is made by the editorial board, following peer review and discussion.

Article structure and style

1. Contributions should include:

- a Universal Decimal Classification index (UDC) most relevant to the topic of the article;
- the title of the article in English and Russian, all lowercase;
- abstracts in English and Russian (200–250 words); the abstract in Russian is placed after the title and before the keywords; the summary in English is placed after the body of the article and before the references;
- keywords in Russian and English (4–10 words); keywords are placed before the body of the article after the abstract;
- references in Russian prepared according to GOST R 7.0.5.-2008 and Harvard-style references in the Latin script;
- a brief autobiographical note in Russian and English, including the full name(s), academic title(s), affiliation(s), e-mail address(es), phone number(s), and work address(es) of the author(s).

2. References.

• References prepared according to GOST R 7.0.5.-2008 are given at the end of the article in alphabetical order, unnumbered. Sources in Russian are listed first, followed by those in foreign languages. If works that have the same author and were written in the same year are cited, a lowercase letter (*a*, *b*, etc.) should be used after the date to differentiate between the works. For example:

Брюшинкин В.Н. Взаимодействие формальной и трансцендентальной логики // Кантовский сборник. 2006. №26. С. 148–167.

Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Сочинения : в 8 т. М., 1994а. Т. 4.

Кант И. Метафизические начала естествознания // Сочинения : в 8 т. М., 1994б. Т. 4.

Howell R. Kant's Transcendental Deduction: An Analysis of Main Themes in His Critical Philosophy. Dordrecht; Boston; L., 1992.

• If an online source is cited, the reference should include the exact URL for the article and the date of accession, parenthesised. For example:

Walton D. A. Reply to R. Kimball. URL: www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf (accessed 09.11.2009).

3. References in the Latin script.

The English-language part of the article should contain Harvard-style references in the Latin script: name of the author(s) followed by the year of publication. The title of the book (journal) should be italicised. If a work has not been published in a language using the Latin script, an English translation of the title should be provided in brackets. For example:

Cyrillic-script book: Borisov, K. G. 1988, *Mehanizm pravovogo regulirovaniya processa internacionalizacii mnogostoronnih nauchno-tehnicheskikh svjazej v sovremennoj vseobshhej sisteme gosudarstv* [The mechanism of legal regulation of the internationalization process of multilateral scientific and technical relations in the modern universal system of states], Moscow.

Latin-script book: Keohane, R. 2002, *Power and Interdependence in a Partially Globalized World*, New York, Routledge.

Cyrillic-script article: Dezhina, I. G. 2010, Menjajushhiesja prioritety mezhdunarodnogo nauchno-tehnologicheskogo sotrudnichestva Rossii [Changing priorities of Russia's international scientific and technological cooperation], *Ekonomicheskaja politika* [Economic policy], no. 5, pp. 143–155, available from: www.iep.ru/files/text/policy/2010_5/dezgina.pdf (accessed 08 April 2013).

Latin-script article: Johanson, J., Vahlne, J.-E. 2003, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, *Journal of International Entrepreneurship*, no. 1, pp. 83–101.

For more details on Harvard-style referencing, see libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

4. In-text referencing.

• In-text references should be parenthesised and include the name(s) of the author(s), the year of publication, and the page number (for citations), separated by commas. For example: (Howell, 1992, p. 297).

• References to multi-volume works: the name(s) of the author(s), the year of publication, the volume number, and the page number, separated by commas (Schopenhauer, 2001, 3, 22).

5. A failure to meet the above requirements may result in the rejection of a manuscript.

Formatting

Manuscripts should be submitted in an electronic format as an a4-size document (210 × 297 mm).

Contributions are accepted in the *doc* and *docx* formats only (Microsoft Office).

For more details on the text, table, and figure formatting and referencing, see the IKBFU Journals website at

<https://journals.kantiana.ru/journals/slovoru/pravila-oformleniya/>

Peer review process

1. All submitted contributions are subject to double-blind peer review.
2. The editor-in-chief establishes whether submitted works fit the scope and comply with the standards of the journal and submits them for review to an expert with relevant qualifications, holding a doctoral or postdoctoral degree.
3. The review period is such as to ensure prompt publication of accepted articles.
4. The review establishes:
 - a) whether the content of the article corresponds to its title;
 - b) whether the contribution is in line with the latest findings in the field;
 - c) whether the language, style, and layout of the text, tables, diagrams, figures, and formulae make the work clear to readers;
 - d) whether the article contains original research;
 - e) what the strengths and weaknesses of the article are and what improvements should be made;
 - f) whether the manuscript is suitable for publication in the journal.
5. The review is sent to the author via e-mail.
6. If a reviewer recommends reworking the article, these recommendations are sent to the author with suggestions for revision. The author(s) has(ve) the right to defend his/her(their) position. A revised article is resubmitted for review.
7. An article that has been rejected by at least one reviewer cannot be resubmitted. The text of a negative review is sent to the author via e-mail, fax, or regular mail.
8. A positive review is a necessary but not sufficient condition for publication. A final decision is made by the editorial board.
9. If a positive decision is made, the publishing editor notifies the author(s) and inform him/her(them) of the publication date.
10. The editorial board keeps reviews for five years.

СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:
BALTIC ACCENT

2021

Том 12
Vol. 12
№ 2

Редактор *И. О. Дементьев*. Корректор *П. С. Щербаков*
Компьютерная верстка *Г. И. Винокуровой*

Copy-edited by *I. Dementev, P. Shcherbakov*
Layout by *G. Vinokurova*

Подписано в печать 21.05.2021 г.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 11,2
Тираж 120 экз. (1-й завод — 50 экз.). Заказ 56
Свободная цена

Signed 21.05.2021
Page format 70×108 ¹/₁₆. Reference printed sheets 11,2
Edition 120 copies (first print: 50 copies). Order 56
Free price

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
236022, г. Калининград, ул. Гайдара, 6

Immanuel Kant Baltic Federal University Press
6 Gaidara st., Kaliningrad, 236022, Russia